

„Домашняя“ литература и истоки классической литературы в России^{i,1}

Проф. П. Бицилли

18-ый и начало 19-го века были эпохами, когда „домашняя“ литература любого вида – воспоминания, дневники, письма и т.д. – была необычайно распространена. Русские историки культуры пользуются работами этой категории в большом количестве и почти бескритично, как источниками для истории внешней жизни, обычаев, социальных отношений. Но культурноисторическое значение возникновения, распространения и развития формы и содержания этой литературы самой по себе оставлено ими полностью без внимания. Это поражает в особенной степени у тех историков, которые, как Милюков, подчеркивают значение *европеизма*, как одного из важнейших факторов русского культурного развития в Новое время. Им следовало бы заметить, что мемуарная и эпистолярная литература в России появляется одновременно с возникновением „европеизма“. Этот факт выигрывает в значении еще и потому, что в этом случае вряд ли можно говорить о каком-то заранее данном влиянии какого-либо западноевропейского образца. „Домашняя“ литература осталась обойденной вниманием и историками литературы. Лишь недавно исследователи так наз[ываемого] „формалистского“ направления обратили внимание на эпистолярную литературу конца 18-го и начала 19-го в.² В новейшем и, несмотря на краткость, очень полном историческом обзоре русской литературы Сакулина^{3,ii}, такие первоклассные образцы, как „Житие“ протопопа Аввакума или „Мемуары“ княгини Н. Б. Долгоруковой, не упомянуты ни единым словом⁴. Такие произведения обойдены у Сакулина потому, 382 | 383 что они не могут уложиться в схему, обусловленную его концепцией литературной истории: он называет эту концепцию „синтетической“, т.е. социологической. Литература для него является особенной сферой культурных отношений между писателем и читателем при помощи языка искусства. Тем, что его схема при этом оказывается слишком узкой, чтобы вместить в себя некоторые из наиболее значимых памятников русского словесного искусства, еще никоим образом не доказывается неправильность социологического понимания как такового; доказывается лишь то, что автор не доработал собственную концепцию. Из того, что литература является процессом внутри культурных отношений между писателем и читателем, еще не следует никоим образом, что произведение, не предназначенное для читательской *массы*, находится, так сказать, вне литературы. Очень трудно, хотя и не совсем невозможно, определить границу между „интимным“ читательским (или слушательским) кругом и „обществом“. Или будут ли, скажем, „домашние“ (семейные) письма Цицерона и Петрарки, альбомные стихи Пушкина кем-нибудь другим исключены из литературы? Собственно, когда человек пишет исключительно для себя, его произведение может принадлежать литературе, особенно тогда, когда отражает известные литературные направления или когда оно, сознательно или бессознательно, ищет новые выразительные средства, т.е. следует известным тенденциям читательского вкуса, чем на самом деле в большой степени определяется развитие литературного стиля.

Мы обратились к комплицированности „домашней“ литературы как культурно-исторического феномена постольку, поскольку именно эту литературу – или, выражаясь более точным и общим образом, эту *письменность*, – можно считать

¹ Переведено с русского д-ром V. Frank (Берлин).

² Тынянов в сборнике „Архаисты и новаторы“, 1929.

³ „Die russische Literatur“ в [серии] Handbuch der Literaturwissenschaft.

⁴ То же самое у Милюкова в литературноисторической части его „Очерков по истории русской культуры“, издание 1931 г., Т. II, ч. I.

показателем эволюции индивидуального и общественного сознания, и вместе с тем эволюции литературных (в точном смысле слова) тенденций.

С этой точки зрения следует подчеркнуть, что *истоки* русской мемуарной литературы, как явления характерного для целого общественного слоя, нельзя расценивать как факт *литературной* истории. Мемуары людей, принадлежавших к правящему в 18 в. слою, служилой знати, на первых порах не дают возможность различить никаких литературных влияний: в этих произведениях не оставили следов ни старая русская агиография, ни западноевропейская литература. Писать мемуары для этих людей не было делом моды, а также не было удовлетворением стремления к литературному творчеству. Эти мемуары раскрывают чаще всего непосредственное, наивное сознание служебной ответственности, сильное чувство родовой и сословной чести. В *этом* смысле можно также понять их как эффект „европеизма“. Представители знати 18 в., 383 | 384 вся жизнь которых исчерпывалась службой, подводили под конец жизни, после полученной отставки, итоги своей жизни для самих себя или для потомства. Один из средних мемуаристов того времени, П. И. Рычков (1712–1777), считает составление „записок“ гражданским долгом каждого. „Мне случилось читать, – так он обращается к своим детям, – что в Швеции недавно такое учреждение учинено и опубликовано в народе, дабы не только из знатных, но из посредственных людей всякой жития своего записки содержал и оные в публичный архив на сохранение отдавал [...] не излишне б было, ежели б и у нас такие записки в обычай вошли. Я, как ваш отец, каждому из вас о таких записках совет мой даю. Выше сего упомянул уже я, что они в домашних поведеньях, а особливо для потомства весьма небесполезны, только бы были неложные и беспристрастные“ (Русский архив, 1905, вып. III, с. 298)ⁱⁱⁱ. Его собственные записки это сжатые, хронологически упорядоченные заметки о служебных событиях, о рождении детей и т. д. Некоторые записки возвращаются своей формой к домашней хронике. Ранний пример этого – записки П. М. Бестужева-Рюмина (рожд. 1664). Это летопись, написанная пост фактум. Летоисчисление идет, как в древнерусских летописях, с сотворения мира: „В 7191 году написан ко двору царского величества в стольники походные, возрасту своего 20 лет. В 7193 году сочетался браком на девице Евдокии Ивановой [...] В 7195 и 7197 году был в военном походе у Крымской Перекопи [...] в есаулах [...]“^{iv} и т. д. Такой же летописный характер несут записки В. А. Нащокина (1707–1761; Русский архив, 1883, [вып. IV, с. 245–351])^v. Они лишь немного пространнее. Автор рассказывает только о внешних обстоятельствах, или о таких, каких он лично пережил, или о таких, свидетелем которых он был. Заметки генерала Мосалова (рожд. 1750), которые написаны в 1806–1812 годах, показывают настоящий отчет его *faits et gestes* [подвигов и дел (фр.)]: „Дуэли по воле моей имел два раза [...] Пьян был я отроду семь раз [...] Еще был в майорском чину два раза [...] А в подполковничьем чину ни разу не был. В полковничьем чину пьян был три раза [...] Играть в карты начал я с чину адъютантского...“ (Русский архив, 1905, вып. I, с. 171–173)^{vi}. И все же большинство записок служилой знати несравнимо содержательнее. И. И. Неплюев (1693–1773; Русский архив, 1871), князь Я. П. Шаховской (1705–1777; изданы в 1810 г.); Хвостов (1756–1832; Русский архив, 1870), Д. Б. Мертваго (1760–1824; Русский архив, 1867), Державин, И. В. Лопухин (рожд. 1756; его записки 384 | 385 изданы в 1860 г. в Лондоне) – все это были люди, для которых служба имела значение не карьеры, а главного содержания их жизни^{5,vii}, люди, которые исполнены свойственным 18 веку пафосом государственного строительства и любовью к

⁵ В. Ходасевич мимоходом отмечает в своей выдающейся биографии Державина (Париж, 1932), что поэтическая деятельность была для Державина продолжением его служебной деятельности.

службе^{6,viii}. Служебные отношения того времени были очень своеобразными. Административный аппарат был все еще очень слабо развит, иерархический принцип был в большой степени подорван фаворитизмом. С другой стороны, те же самые отношения оставляли известное пространство для личных инициатив, побуждали у некоторых честных людей чувство и сознание личной ответственности. У некоторых представителей служилой знати развилась способность работать с собственным пониманием и готовность брать многое на себя. Притом было особенно легко продвигаться вперед, но было и не менее легко испытать неприятности и подвергнуться преследованиям. Часто оказывалось, что человека привлекали к суду, когда он *следовал закону* наперекор желанию влиятельной личности. Рассказ о том, как они служили и за „высшую справедливость“ (выражение Державина) боролись, каким преследованиям подверглись, составляет основное содержание воспоминаний лучших представителей тогдашней знати. Стиль их мемуаров соответствует их состоянию духа. Он полностью лишен „литературы“. Его язык нескладный, тяжелый, но в той же степени энергичный и выразительный и выдает морально внушительную суть человека, нашедшего свой путь. Это не „литературный“ язык с художественными амбициями (притом один из этих мемуаристов – наибольший русский поэт 18 в.), в равной степени и не „интимно-банальный“: это типичный канцелярский язык, – тот язык, на котором они привыкли всегда разговаривать на службе и о службе. Изображение строго предметное, часто (так у Державина и Лопухина) сопровождается подтверждающими документами. „Интенсивная“ сторона жизни в мемуарах этих людей почти не затрагивается. Когда она появляется, о ней рассказывается так же предметно, как о службе. Не то, чтобы эти сферы их жизни были побочными, – люди, как Державин, Д. Б. Мертваго⁷, И. В. Лопухин, один из руководителей русских вольных 385 | 386 каменщиков, имели очень высокие духовные запросы. Их духовному типу, однако, был полностью чужд разлад между „внутренней“ и „внешней“ жизнью, разлад, который породил уже тогда начинающуюся замену „классической“ культуры „романтической“. Повышенное самосознание личности было главной причиной распространения мемуарной литературы. Родовое или семейное чувство играло в России, насколько можно судить по этой литературе, довольно незначительную роль. Несколько авторов предпосылают своим собственным мемуарам краткий генеалогический очерк. Так [делает], напр[имер], И. Ф. Лукин (1730–1803), автор редкостно громоздких записок (Русский архив, 1865). Во многих отношениях интересная автобиография майора М. В. Данилова (написана 1771; Русский архив 1883, [том] II, с. 1–66)^{ix} вставлена автором в рамки генеалогии. Он дает в первую очередь данные о своих предках и о своих родителях, потом рассказывает, по возрастному порядку, о своих сестрах, переходит к описанию собственной жизни и кончает повествование 1765 годом, когда он оставляет службу. О причинах, заставивших его сесть за работу, говорит он следующее: „Живучи в деревне [...], без всякого дела, возмнил я написать происшествие фамилии нашей Даниловых“. Однако он делает оговорку, что он делает это не ради тщеславия, „но чтобы, наконец, от предания изустного вовсе не истребилось из памяти происхождение наших Даниловых“, цитирует при этом (в переводе Поповского) стихи из „*Essay on Man*“ Поупа и излагает размышления о том, что „от человека содеянные добрые дела и заслуги увеличивают и возвышают род и фамилию его; а фамилия хотя б она прежде и знатная была, не может уже возвыситься без достоинства человека“ (Записки, с. 2–3)^x. В духовной и общественной жизни России в 18 в. главную роль играли *homines novi*^{xi}, у

⁶ „Любовь к службе, – пишет Лопухин, – при невозможности удовлетвориться военною (он должен был от нее отказаться по причине болезни), устремила склонность мою к гражданской...“ (Записки, с. 4 [выделение и пояснение в скобках – П. Б.]).

⁷ Ср. его замечательную характеристику С. Т. Аксаковым в воспоминаниях последнего.

которых было достаточно оснований гордиться больше своей службой, чем делами отцов или знатностью рода. Сословное чувство, аристократическое тщеславие – относительно позднее явление, результат законодательства Екатерины II, которая подтвердила указ Петра III об освобождении знати от обязанности службы и превратила *служилое* сословие в привилегированную поземельную знать. Это сословное чувство лишь постепенно становится типичным, оно сильнее всего во время, когда политическая и общественная роль знати уже исчерпана.

В результате реформ Екатерины знать стала оседать в своих имениях. Русская культура стала с того времени и на долгий период культурой „дворянских гнезд“. Понятно, что это должно было способствовать как развитию 386 | 387 „домашней“ литературы, так и ее своеобразной (формальной и содержательной) эволюции. Решительным было прежде всего обстоятельство, что с того момента знать располагала неограниченным свободным временем, которое надо было заполнять каким-нибудь образом. Лишь немногие из тех, кто в 1761 г. получили право не служить, отказались от этого права, потому что считали службу моральным долгом представителя знати, что законодательство стремилось внушить им. Постепенно однако все больше росло число неслужащих, в своих имениях живущих дворян. В результате создались такие отношения, которые охарактеризованы в детских воспоминаниях Е. Н. Водовозовой (эпоха непосредственно до реформ Александра II): „...[М]ои воспоминания не были бы так отчетливы, – пишет она, – если бы старшие, вследствие полного отсутствия [в прежнее время] каких бы то ни было *политических и общественных* интересов, а также книг [для чтения], не вспоминали так часто о наших захолустных [«]историях[»] и [«]происшествиях[»]. Изумительно, с каким удовольствием у нас думали о прошлом! Само собой разумеется, этому [более всего] способствовала однообразно-вялая, монотонная, уединенная семейная жизнь. Достаточно было самого ничтожного предлога, деловой записки от человека из той или другой соседней местности, и кто-нибудь из *членов семьи* сразу начинал *говорить* о людях, живших в ней 10 или 20 лет назад. Присутствующие тотчас оживлялись, [и не только] внимательно слушали рассказ [...], [но и] сообщали пропущенные рассказчиком подробности и т. д.“^{xii}.

Естественно, эта характеристика жизни помещиков требует сужения и пересмотра. Ни для 19-го, ни для 18-го в. можно считать „недостаток книг для чтения и скудость тем для разговора“^{xiii} общевалидным явлением. Наоборот, вторая половина 18-го и первая половина 19-го вв. были эпохами, когда возникла дворянская интеллигенция, когда появилась рефлексия, и при исследовании „домашней“ литературы надо учитывать эти положительные стороны в не меньшей степени, чем отрицательные, о которых говорит только что цитированный источник. Привычка предаваться воспоминаниям из-за скуки, из-за праздности создала для мемуарной литературы благоприятную психологическую атмосферу. И все-таки воспоминания, дневники писали и между собой переписывались прежде всего те люди, которые свободным временем и монотонной жизнью в деревне были заставлены обратиться к чтению и размышлению. „Домашнюю“ литературу нового вида, которая теперь возникает рядом с „домашней“ литературой старого вида, можно назвать *читательской* литературой. Культурноисторически она ценна прежде всего тем, что позволяет проследить эволюцию образованного читателя, дворянина или также „разночинца“, развитие его 387 | 388 психики, его вкуса, его духовных интересов. Этой ценностью, однако, она обладает только в том случае, когда исследуется именно как *литература*, притом как в отношении содержания, так и в отношении *формы*. С этой стороны ее почти никогда не касались. Сиповский, напр[имер], который сделал так много для истории русского

романа 18 в.⁸ и привлек в большом количестве мемуарную литературу того времени, чтобы проследить факты тогдашней жизни в современном [ей] романе, полностью проглядывает проблему *литературных* отношений между этой мемуарной литературой и беллетристикой, любимым объектом чтения русской знати того времени (что сам Сиповский доказывает с исчерпательной основательностью). Следуя за другими исследователями, Сиповский обозначает такие образцы мемуарной литературы, как „Записки“ А. Т. Болотова, как „наивные“, „неискусные“ и т. д. В действительности для целого ряда произведений этой категории характерно как раз то, что они очень „искусны“.

Русская мемуарная литература проделала по существу такое же развитие, как и западноевропейская. И в Европе настоящая автобиография, что *может показаться парадоксальным*, развивалась сначала под влиянием фикциональной литературы (т. е. романа, в котором рассказ велся с первого лица), перед тем как в свое время повлиять на последнюю. Мемуары, как „vita“ Бенвенуто Челлини, сочиняют долгое время по исключению. Обычно мемуарист поступал как историк: он касался только того, что составляло „историческую ценность“ и общий интерес. Мемуары были настоящими *gestae*, рассказами о „достопамятных деяниях“. Личная жизнь и повседневность были объектом романа. Роман в автобиографической форме возник не как имитация настоящей автобиографии, а как результат возросшего применения одной определенной литературной манеры. Традиционный авантюрный роман, роман „путешествия“, был вполне естественно романом с „вставками“ („*tiroirs*“): герой встречается по ходу своих странствований разных людей, и они рассказывают ему о своих приключениях (Дон Кихот!). Само собой разумеется, что в этих „*tiroirs*“ рассказ ведется с первого лица. Такие вставные новеллы эмансипировались, так сказать, от романа, и уже в античности они стали сами по себе романами „в себе и для себя“ (Сатирикон!). В новой литературе один из наиболее полноценных примеров этого жанра это знаменитая „Жизнь Ласарильо с Тормеса“, вызвавшая целый ряд подражаний. В конце 17-го и начале 18-го в. автобиографический роман 388 | 389 продолжает господствовать в повествовательной литературе. Целый ряд отличных либо в любом случае популярнейших образцов романной литературы написаны в этой форме (Мариво, Ле Саж, Аббат Прево и мн. др.). Также „Исповеди“ Руссо своей формой намного больше возвращаются к этой романной форме⁹, чем к произведению, чье заглавие он позаимствовал. Но на литературное развитие романа воздействовали и внешние обстоятельства. Так, повлияло распространение в 18 в. *эпистолярной литературы*, которое породило новую романную форму, роман в *письмах* (Ричардсон!). Само собой разумеется, мода на роман в письмах с своей стороны послужила стимулом для настоящей эпистолярной литературы.

Вторжение новой романной формы в Россию породило здесь те же последствия, что и в Европе. И здесь приходу нового типа мемуаристики и „домашней“ литературы был этим дан на самом деле первый импульс. В этом отношении особенно интересны известные „Записки“ Болотова. Еще в своей молодости, в Кенигсберге, во время Семилетней войны (он служил в армии), Болотов был страстным читателем. Он не только читал романы, но и переводил, для печати и из любви к предмету. В 1781 году в Москве, в одной книжной лавке ему попался в руки „новенький и только что вышедший немецкий роман под заглавием „Генриетта или гусарское похищение“,

⁸ Ср. его „Очерки к истории русского романа“, 1909–1910.

⁹ А также и к „роману-исповеди“, „психологическому“ роману, в котором рассказ ведется с первого лица, как в „Фьяметте“ Боккаччо и в целом ряде других произведений этого типа, испанского, итальянского, французского происхождения, которые в 15–16 вв. входили в моду. Ср. об этом G. Reynier: *Le Roman Sentimental avant l’Astrée*, 1908.

который (ему)^{xiv} как-то с первого взгляда отменно полюбился по своему особому слогу^{xv}. Он решил про себя перевести его „точно в таком духе, в каком он писан“ и предложить издателю Новикову^{xvi}. Также он перевел „Герфорта и Клару“ и знаменитый роман Фильдинга „Амелия“. Любовь к романам сказалась на стиль и композицию „Записок“ Болотова. Это полностью продуманная и тщательно выполненная работа, которую автор сочинил во второй половине своей долгой жизни, после того, как вышел в отставку и поселился в своем родовом имении. В одном из писем своему сыну (1789), которое включено в „Записки“, он делится: „Я [...] продолжаю свое прежнее дело, то есть пишу свою историю, и уже третьей части более половины написал. Теперь идет история моей военной службы, и не менее любопытна, как и первая. Матушка и Настасья охотно их читают. [...] Настасья только и говорит, что не 389 | 390 только-де нам, но и иным любопытны“ (по Русской старине^{xvii}, Т. IV [„Записок“], с. 656, с. 696)^{xviii}. Записки он изложил на основе своих дневников, которые он начал вести еще в Кенигсберге; для этого он нуждался и в своей пространной переписке. Как это было для того времени обычным, он берег черновики собственных писем и ответы на них. В молодости он переписывался со своим сослуживцем Тулубьевым. После смерти Тулубьева он получил все письма другу обратно: „[...] и как они писаны были все в одну форму, то велел я их тогда же переплесть и храню их как некакой памятник тогдашним моим чувствованиям и упражнениям, а вкупе и тогдашней моей способности к описанию и великому еще несовершенству моего слога“ (IV, с. 370)^{xix}.

Свои „Записки“ Болотов дал в форме писем к фиктивному „любезному приятелю“. Он мотивировал это следующим образом: „[...] что принадлежит до расположения описания сего образом писем, то сие учинено для того, чтоб мне тем удобнее и вольнее было рассказывать иногда что-нибудь и смешное“ (Предисловие, написано в 1789 г.)^{xx}. Младший современник Болотова, А. Пишчевич, составил свои „Дневниковые записки“ в форме писем, которые он отправлял самому себе с мест, где он был, в имение, где он остался после полученной отставки на постоянное жительство (опубликованы в Киевской старине, 1884 до 1886 г., в выдержках)^{xxi}. В общем, в „Записках“ Болотова применяются самые употребительные приемы тогдашней романной литературы. В широком объеме развита манера утаивать „решение“, чтобы подстрекать любопытство читателя (напр[имер], бесконечное изложение о выборе невесты и о сватовстве). Часто письмо обрывается на „напряженнейшем“ месте, и рассказ продолжается в следующем письме, прием, находивший свое оправдание в выходе романов по частям, у Болотова, однако, работающего без смысла, если только не будет понято, что он ставит круг своих домашних слушателей на то место, куда ставит своих читателей автор романа. Примером применения такого трюка у Болотова может служить рассказ о сражении при Егерсдорфе. Войсковая часть, в которой находился автор, ждала момента, когда она должна была включиться в сражение, и это „производило натурально некое внутреннее в сердцах содрогание“. Этим кончается 46-е письмо. Следующее начинается следующим образом: „Любезный приятель! Начиная читать письмо сие, не обманитесь и вы также в ожидании своем, как обманулись мы в ожидании нашем в тот пункт времени, на котором я мое предсказуемое письмо кончил“: сражение было уже в тот 390 | 391 момент кончившимся (V, с. 533 сл.)^{xxii}. Еще пример: в Кенигсберге полковник спросил автора, не желает ли тот быть переброшенным в действующую армию. Про себя Болотов этого не хотел, но не слышалось, чтобы такое предложение отказывали. Он принял. Когда он пришел домой, он дал приказ укладываться. Его слуга однако, типичный „настоящий слуга“ романов и комедий, стал его упрекать и советовать его как он должен был устроить, чтобы остаться в гарнизонной армии. Но слушать его Болотов вовсе не хотел. Эпизод разрешился самым неожиданным образом: в действующую армию его не приняли. Во 2-ом письме рассказывается история жизни

старинного предка Болотова, некоего Еремея Гавриловича, „повесть, которая передана ему [...] *его* родственницею“^{xxiii}. Эта родственница слушала историю в своем детстве от самого Еремея Гавриловича: как он попал в татарский плен, как после 20 лет сбежал, в родной деревне был узан старостой. Междувременно вся его семья была умершей, в живых остались только племянники, у которых он остался жить. Эта история вполне явно стилизована в манере традиционных „*recognitiones*“.

Специфические элементы настоящего семейного романа переплетены у Болотова с элементами *интимного дневника*, который имел предметом „излияния чувствительного сердца“. Так же сплетены обе манеры и в романых прототипах „Записок“. В воспоминаниях о Кенигсберге, где он нашел богатую библиотеку и где в книгах к нему навстречу вышел целый новый мир, он писал: „Не могу изобразить сколь великую пользу они мне принесли и как много распространяли все мои сведения и знания. Словом, чрез них *узнал я не только сам себя*, но и все нужнейшее, что знать человеку в жизни надобно. [...] Я со всяким днем получал новые знания и со всяким днем делался лучшим; но можно сказать, что много помогали к тому и *важные размышления*, в каких я нередко упражнялся и которые побудили меня предпринять тогда одно *особое и такое дело, какое редко делают люди таких лет*, в каких я тогда находился; а именно: я положил *всякую хорошую попадающуюся мне мысль и всякое хорошее чувство души своей* записывать на особых лоскутках бумаги и всякий день предписывать самому себе что-нибудь нужное либо к исполнению, либо к забывению чего-нибудь“. На этих листах он сложил на протяжении года целую книжку, „содержащую в себе столько же самому себе предписанных правил, сколько дней в году“. Это был „и первый слабейший опыт нравоучительных моих сочинений“ (I, с. 982 и сл. [Выделение – П. Б.]^{xxiv}. Записки исполнены „нравоучительными размышлениями“ и „опи- 391|392 саниями ощущений“. Для „чувствительного человека“ характерно то, что он предавался своим „излияниям“ по какому-нибудь поводу, чаще всего во время прогулки или в дороге: результат литературных влияний, которые идут от „*Sentimental Journey*“ и „*Rêveries du promeneur solitaire*“. Так Болотов „любовался“ и [у себя] на земле^{xxv}, гуляя по утрам, „всем приятностям природы, [...] воспарялся духом к небесам, повергался на колена пред Обладателем мира [...] и изливал пред Ним свои чувствования и молитвы...“, после чего он давал хозяйственные распоряжения и шел завтракать (II, с. 411)^{xxvi}. Он был вынужден совершать часто деловые поездки. Чтобы не чувствовать скуку, Болотов пытался превращать каждую поездку в „*Sentimental Journey*“, как, например, поездку из Москвы в Кашин 1770 г.: „чтоб не допустить себя мучить скуке [...] расположился я уже с самого начала [...] возыметь прибежище к любимому моему и *столь нужному для человеков искусству* увеселяться красотами природы и положением мест и, насколько это возможно, занимать себя мыслями, которые не позволили бы скуке одолеть их“. Когда, однако, он не находил никаких особенных „случаев“ к созерцанию, он вдавался в „помышления о самой сей дороге“ и говорил с „самою сей дорогою или паче сам с собою примерно следующим образом. «О, путь!...: путь великий и знаменитый! Сколь многие века существуешь ты здесь [...]»“ (далее следуют исторические реминисценции о татарском нашествии и т. д.)^{xxvii}. Чтобы убить долгое время в ожидании парома через Оку, он приводит новый солилокке на ту же самую тему: „...О, как часто ... эти разбойники (а именно татары) достигали этих берегов. [...]“ (II, 963)^{xxviii}.

Так „чувствительный человек“ дрессировал самого себя. То, что для молодого Болотова было новым, позднее было, так сказать, канонизировано. Михаил Никитич Муравьев, кого в свое время ценили как своего рода авторитета в „*éducation sentimentale*“, писал: „беседовать в уединении иногда столько же приятно и часто более полезно, нежели в обществе. Всякая новая мысль есть приобретение для разума, всякое

чувствование – приобретение для сердца. [...] Я познаю мое сердце, углубляясь в него, и радуюсь жизнью своею, радуюсь, что могу сам с собою обходиться (Извлечения из записок, Сочинения, издание 1859 г., II, с. 359)^{xxix}.

Существовали готовые примеры [„]помышлений[“], пригодные для самых разных случаев. Так, „чувствительный путешественник“ поздравлял место, в которое он въезжал, и обращался с прощальной речью к месту, которое покидал. В первом случае было уместно вспомнить знаменитые исторические события, которые с этим 392 | 393 местом связаны[,] во втором – „благодарить“ ему за впечатления, которое оно дало. Когда Болотов приближался к Петербургу, „мысленно возопил: «О град! Град пышный и великолепный!.. Паки вижу я тебя! [...]»“^{xxx}, и он прикрепляет созерцания того, что, пожалуй, его там ожидает (II, с. 152)^{xxx}. Об отбытии из Кенигсберга рассказывает он следующим образом: „Я пробежал мыслями все время пребывания моего в нем [...], и беседуя с ним душевно, молча ему говорил: «Прости милый и любезный град, прости навеки! [...] Ты был мне полезен в моей жизни [...]; в стенах твоих сделался я человеком и опознал самого себя!»“ (II, с. 143)^{10,xxx}. Когда Болотов въезжал в Новгород, он думал о „древних обитателях Новгорода“, „славных временах Новгородской республики“ (II, с. 293)^{xxxii}. То же самое встречается в записках С. Н. Глинки, которые написаны гораздо позднее (1842), но выдержаны полностью в стиле старых „чувствительных“ автобиографических романов. „Утреннее солнце блеснуло над Новгородом, когда мы к нему подъехали. [...] Мысль моя залетела в даль веков, и я воскликнул с Вадимом (героя одной трагедии Княжнина): „О! Новгород, что ты был и что ты стал теперь! [...]“^{11,xxxiii}. Подобным же образом и в „Путешествии из Петербурга в Москву“ Радищева присутствуют размышления о новгородском „народоправстве“ и о жестоком обращении с новгородцами Ивана IV. Мы видели, что Болотов мотивирует форму, которую он выбрал для своих „Записок“, желанием иметь возможность вложить и юмористический элемент, хотя в сущности эпистолярная форма никак не обязательна для этой цели. Эта форма была характерна скорее для „чувствительного“, чем для юмористического повествования. Образцом последнего и в Западной Европе, и в России был „Жиль Блас“ Лесажа. В русской мемуарной литературе сохранилось произведение, которое отсылает непосредственно к роману Лесажа. Это „Истинное повествование“ Г. И. Добрынина^{xxxiv}, провинциального чиновника¹². Добрынин происходил из духовенства и в молодости был келейником епископа Севска, Кирилла Флоринского. Карьера должностного лица далась ему не сразу. В своих воспоминаниях он часто отождествляет себя с героем юмористических авантюрных романов. Добрынин был крайне поверхностно образован. Все-таки он читал в переводах и европейских писателей. Так, он называет Лесажа, 393 | 394 Вольтера и Монтескье писателями, чьи произведения „суть явления, отверзающие умственный глаз подобных им человеков и оживотворяющие ощутительную душу мыслящего существа“ (с. 134)^{xxxv}, в противоположность произведениям греческих и русских проповедников, которых он должен был читать в юности. Он читал также „Confessions“ Руссо, иронизирует как произведение, так и его автора: Руссо „показал свою откровенность даже до таких своих действий, которые ни ему, ни читателям ни к чему не служат, кроме соблазна [...]“ (с. 302)^{xxxvi}. Одинаково осуждающе противопоставляется он и автобиографии Фонвизина („чистосердечное признание“^{xxxvii}): он считает ее неудавшимся подражанием „Confessions“, на самом деле Фонвизин вообще не признается ни в чем, а только хвастается (ib.). Сам он ставит перед собой цель „писать

¹⁰ Сиповский (Очерки, Т. I. Вып. 1, с. 671 ff.) связывает эти места с „расставанием“ автора „Приключения одного русского“ (П. З. Хомяков) с городом Торном.

¹¹ Записки, издание 1895 г.; с. 128.

¹² Рожд. 1752 г., ум. в начале 19 в. Его мемуары опубликованы в 1873 г.

сущую правду“, и так, „как пишутся дневные записки“ (с. 3). О стиле своих записок он говорит: „[...] тон моей повести и порядок в ней всего беспорядка основал я на пословице покойника моего деда: мешай дело с бездельем [...]“ (ib.)^{xxxviii}. Эта поговорка была в 18 в. ходкой и часто появляется в источниках. Известная тирада Чацкого в „Горе от ума“: „Когда в делах, я от веселий прячусь, // Когда дурачиться: дурачусь; // А смешивать два эти ремесла – // Есть тьма искусников, я не из их числа“, – является приговором над жизненным стилем уже отмирающей культурной эпохи.

Такое целеполагание отлично соответствовало схемам юмористического авантюрного романа. Добрынин часто сравнивает себя с персонажами своих любимых писателей. Так, рассказывая о своем пребывании в Витебске во время французской оккупации в 1812 г., он отмечает: „[...] участь моя похожа была на Лесажева Жильбласа в подземельном жилище у разбойников или на Вольтерова Гурона под тремя засовами в темнице [...]“ (с. 368)^{xxxix}. И в другом месте говорит: „[...] и я уже надеялся скоро сказать о себе также, как в подобном случае сказал о себе в Лесажевом романе Жильблас, что он «с рожи стал похож на бернардинского монаха»“ (с. 357)^{xl}. Епископ Кирилл у него заметно стилизован под образец тупого епископа Саламанки из „Жиль Бласа“, и один эпизод выглядит прямым переложением похожего у Лесажа. Он оставил службу у епископа и покинул Севск. Междувременно он прибыл к архимандриту Елецкого монастыря, Ерофею, но Ерофей, убежденный, что Добрынин все еще является влиятельным келейником у епископа, был подчеркнута обходительным и подобострастным. В течение разговора выясняется, что Добрынин покинул епископа. „Время нашего разговора сблизилось под самый ужин. 394 | 395 Отец архимандрит [...] пожелал мне спокойной ночи и пошел в дальние покои, не говоря больше ни слова. Еще я не опомнился хорошенько, и не знал за что почесть неожиданной побег нашего хозяина, как подошел ко мне его келейный и сказал, что «его высокопреподобие кушать не изволит, так неужгодно ли вам откушать с нами?»“ (с. 153)^{xli}. У Лесажа (Книга VII, гл. V) Жиль Блас, которого епископ Саламанки освободил с службы, встречает лиценциата Луиса Гарсиаса. Последний заботится о нем любыми способами и угощает его обедом. Жиль Блас делится с ним о своем несчастье. Лиценциат „devint froid et rêveur; acheva de diner sans me dire une parole; puis se levant de table brusquement, il me salua d'un air glacé et disparut“^{xlii}. Этому роману обязан Добрынин всем своим, довольно значительным, мастерством *комического портрета*. Но Добрынин был в равной степени „философом“ и „чувствительным человеком“. Как и следовало, это проявлялось главным образом мимоходом. Когда он отправляется в Могилев, начинает мимоходом, под влиянием „приятной вечерней майской погоды“, которая в нем „вызывает полное внутреннее удовольствие“ и побуждает „внутренне просмотреть важнейшие моменты своей жизни“, „философствовать“. Затем он засыпает, потом его пробуждает кряканье утки, чьи маленькие его лакей убил: это подталкивает его к размышлениям о человеческой жестокости (с. 189 ff.). У него есть тоже „прощания“ с городами, которые он покидает, с „душевными обращениями“ к последним. В предисловии он обозначает целью своей автобиографии понять смысл жизни („[...] кто я? где я? откуда я пришел? [...] и куда я иду? [...]“)^{xliii}. Несмотря на это сразу вслед за этим он утверждает, что „все мыслящие так и желающие постигнуть и разрешить сию сокрытую от смертных тайну остаются по-прежнему в глубоком о ней неведении“. В действительности же его автобиография это типичные записки служилого дворянина, которые только выходят в форме юмористического романа с примесью сентиментальных черт.

В одинаковой зависимости от романной литературы находится и „Жизнь Александра Пишчевича, им самим описанная“¹³, но ее образцом является любовный авантюрный роман в стиле „Le Paysan Parvenu“ Мариво, „Faublas“¹⁴ Лувета, „Liaisons dangereuses“ Лакло. В своем кругу Пишчевич слыл за знатока 395 | 396 романной литературы: переводчица французских романов, княгиня Варвара Голицына, послала Пишчевичу в 1790 г. один из переведенных ею романов со словами: „я ведаю охоту г-на Пишчевича к чтению и потому желала бы, чтобы он моего труда книги поместил в свою библиотеку“ (с. 206)^{xliv}. Самого себя он обрисовывает как настоящего „roué“: „Это было всегдашнее мое правило, – говорит он, – холодностью воспалить женщину и возбудить ее самолюбие, которым путем я почти всегда достигал до желаемого“ [с. 250]. Итак, он окончил ту самую школу „науки нежной страсти“, что Евгений Онегин (ср. гл. I, [строфы] VIII–XIII). Свои методы ломать сердца он приложил и к фрейлейбшнице Митендорф, которая позже стала его женой. Характерно одно место, где сообщается об одном объяснении с нею. Она держит долгую, искусственно построенную речь, в которой, м[ежду] пр[очим], говорится: „Я крепко в вас обманулась, ваш наружный смиренный вид, который вы являете пред женщиной в первый раз, меня обольстил и обманул, но теперь я вижу, что вы в своих замыслах из смиренного вдруг превращаетесь в предприимчивого [...]“ (с. 252), „de timide vous êtes devenu entreprenant“ – тривиальное общее место. Пишчевичу оно так нравится, что он повторяет его еще несколько раз: „[...] я сделался предприимчивым, госпожа Пеутлингова сопротивлялась слабо [...]“ (с. 74). „[...]Я сделался предприимчив, г-жа Ганова уступчивою“ (с. 120). Одинаково тривиально рассказывает он (с. 64) о постижениях своей „предприимчивости“: „[...] Я доказал милой вдове (j'ai prouvé à l'aimable veuve), что россиянин (вместо какого-то „un Français“) горазд утешать сетующую красоту (une beauté emploré)“. „Я ее волю выполнил, ни слова не говорил, ибо уста наши, так сказать, склеились [...]“ (с. 74). „Она хотела, согласно привычке своего пола, кричать, но ее губы были прижаты моими“ (с. 162). Пишчевич приводит пару юмористических портретов, в том же стиле, что добрынинские, и множество изображений семейных сцен и скандалов, которые появляются в тогдашних романах в изобилии. Пишчевич бым убежденным вольтерьянцем и читал, как оказывается, Вольтера очень усердно. Рассказывая про одного пастора-сводню, он отмечает: „[...] попы суть везде одинаковы и за деньги на все пуститься готовы“ (с. 73). Почитатель принца Евгения Савойского, он в равной степени пацифист. По поводу переговоров генерала П. С. Потемкина с грузинскими царями Пишчевич пишет: „[...] и все переговоры клонились на пагубу сочеловеков нам, и без того уже робких турков“ (с. 64). Часто он вполне четко подражает стилю Вольтера, напр[имер], в одном рассказе об одном попе из Аткарска, не разрешившего похороны одного лютеранина на православном кладбище: „Я оставил почтенного старика на столе, женщину пла- 396 | 397 чущую, пастора удивлявшегося бредням неуча попа и городу, в котором веровали, что лютеране суть нехристи [...]“ (с. 171). Стихия „чувствительного стиля“ полностью отсутствует у Пишчевича. В связи с этим его автобиография занимает особое место.

В 18 в. „чувствительная“ литература несомненно играла в становлении русской интеллигенции главную роль. Руссоизм был движением, которое образованное общество понимало в широком смысле. С оглядкой на это „Записки“ Винского¹⁵, написанные в первой четверти 19 в., весьма поучительны. Малоросс по происхождению, он учился в Киевской Духовной академии, служил некоторое время в

¹³ Издана в 1885 г. в „Чтениях Московского общества любителей истории и древностей российских“.

¹⁴ „Faublas“ стал в России сразу очень популярным; на то указывает обстоятельство, что вскоре после своей публикации он был два раза переведен на русский язык (Москва, 1793, и Петербург, 1792–1796).

¹⁵ Русский архив, 1877, Т. I. Винский рожден в 1752 г.

Петербурге и наконец работал до конца своей жизни в глубочайшей провинции, после того как имел неприятности в службе. Винский, как кажется, считал себя вторым Руссо, идеальным „человеком и гражданином“, который развил все предоставленные ему природой особенности сердца: „Как бы я ни желал начертать первые признаки моего рассудка, первейшие ощущения моего сердца, начальные порывы моих страстей, но все мое о сем старании тщетно: едва могу припомнить, что по многокровному моему сложению, преданный веселостям, рассеянию, забавам, я точно не был ни зол, ни скуп, ни завидлив. В детских играх душевно равнялся с нисшими; но господствовать ни сам не любил, ни над собою не терпел. Сие, как бы врожденное, осталось во мне на всю жизнь мою. [...] Скажу торжественно, что я был бы лучший гражданин во всяком обществе, где бы законы, хотя драконовские, но тяготели равно на всех“^{xlv} (с. 82 ff., ср. при этом введение к „Confessions“). В другом месте он пишет об усовершенствовании своего характера в зрелом возрасте (во время его проживания в городе Уфа): „Чтение, переводы и беседование с знающими людьми [...] оживили семена нравственности [...]. Мне не великого труда стоило перемениться, ибо я природою был добр, человеколюбив, бескорыстен. [...] Сродная однако мне неуступчивость не только не уменьшилась, но от времени делалась сильнейшею, чему виною было внутреннее чувство, подстрекаемое уже несколько смелыми авторами, и что от меня требовали несправедливого“ (с. 188)^{xlvi}. Он задается, как Руссо, целью изобразить самого себя, „хорошего человека“, во всей полноте индивидуальных особенностей. Он пишет о себе, так как он „знает самого себя лучше 397 | 398 всего“ (с. 78)^{xlvii}. Он притязает на полную безыскусственность изображения: „Я намереваюсь писать о себе, для себя, для своих, следовательно я буду писать как умею, не поставляя себе образцами ни Ксенофонов, ни Титов-Ливиев, ни же К(арамзин[ых])“^{xlviii}. Слог мой, подобно деяниям, будет прост, но правдив [...]“ (ib.). В действительности, его изображение отражает и влияние романной литературы, собственно тогда, когда он намеренно желает от нее дистанцироваться, как, напр [имер], в рассказе о своих отношениях с „Лорхен“, которая позже стала его женой. „Признаюсь, что любви к ней такой, как описывают ее в книгах [...], я точно не имел, ежели не почесть того за любовь, что я желал бы с нею быть“. Он чувствовал к ней сострадание, не мог спокойно видеть ее слезы. „Так усиливая более и более мои ласки, я нечувствительно становился сам нежнее; и когда во излияния своей души, с истинным ангельским простосердечием, пересказывала она мне постепенность ощущений своего сердца, я [...], прижав ее к моей груди, сказал: «Будь, Лорхен, покойна; я обещаюсь быть вечно твоим»“ (с. 115)^{xlix}. Но Винский не следует рабски шаблонам „чувствительной“ литературы. Хотя у него находятся изображения „переживаний“ „по случаю“ дорожных впечатлений, он все-таки выучился у Руссо воспроизводить свои переживания в их предметности и единственности. Так он описывает, напр[имер], путешествие в своем детстве: „[...] еду осенью из Почепа в Баклан, при захождении солнца спускалась наша повозка с небольшого бугорка к реке Судости. От солнечных лучей, скользящих [...] по гладкой поверхности воды, казалась она огненною, через нее летало несколько сорок в лес ночевать. Глядя на все сие, я не знаю отчего стало мне очень грустно. Сия картина и теперь еще так жива в моей памяти, что я, кажется, мог бы ее нарисовать. С того времени воззрение на заходящее осеннее солнце всегда в моей душе производит уныние“ (с. 80)¹.

Помимо корифеев „чувствительной“ литературы, и независимо от них, еще один фактор оказал воздействие: вольное каменничество. В мемуарной литературе этого периода сохранился памятник, который позволяет ясно рассмотреть следы этого влияния. Это воспоминания А. Е. Лабзиной. Как и „Заметкам“ Болотова, этому

произведению тоже присуща заявка на „простоту“ и „бесхитрость“^{16,li}. Нужно однако уметь различать прямоту и открытость от бесхитрости 398 | 399. Воспоминания Лабзиной принадлежат (равно как и произведение Болотова), при всей недвусмысленной искренности, настоящей „литературе“. Только эта литература имеет иной „стиль“, чем та, на которую опираются заметки Болотова, и, конечно, полностью иной жанр.

В своей ранней молодости (ей было 15 лет, но уже была женатой на некоего Карамышева) она^{lii} жила при вольном каменщике Мих. Хераскове, авторе известной тогда поэмы „Россиада“^{liiii}. Херасков воспитывал ее очень строго и запрещал ей, между прочим, чтение романов. Она даже не знала, что означает слово „роман“, и считала его собственным именем. Вместо романов она читала особо ценимого масонами Арндта, сочинение которого „Об истинном христианстве“ переводил масонский друг^{liv} Хераскова – Иван П. Тургенев. Надо полагать, что позже она все-таки имела возможность ознакомиться с запрещенной литературой, потому что в ее воспоминаниях можно рассмотреть ясные следы того. Она рассказывает следующим образом, напр[имер], об отъезде из Нерчинска (в Восточной Сибири): ссыльные, которым она сделала много добра, плакали и стонали при расставании „и эхо повторяло их стоны ...“ (с. 85)^{lv}. Собственно путешествие описывает она следующим образом: „Ехавши дорогой, было время самое приятное – весной [...]. Я, смотря, вспоминала те виды, подобные сим в самом Нерчинске, где с приятностью, сживала на горах при восходе солнца, когда оно бросало лучи свои на блестящие капли росы, и все цветы, поднимая свои головки, испускали благовоние“ (с. 86)^{lvi}. В первоначальной редакции ее заметок она начинает с своего рождения, описывает смерть своего отца, рассказывает, как он поручает няне воспитание дочки в духе наставления, данного им на смертном одре. В окончательной редакции композиция иная: рассказ начинается со смерти отца, потом сообщается о смерти матери, о няне, о разговорах с ней. Няня рассказывает, между прочим, о смерти отца и повторяет его наставления. Возможно, как раз знакомство со схемой романной экспозиции подтолкнуло автора предложить более правдивую окончательную редакцию. Моральных проповедей воспоминания, впрочем, полны: мать, дядя, Херасков, свекровь, – все произносят моральные проповеди, которые всегда очень похожи одна на другую. Строгость, в которой воспитывал ее Херасков, утомляла ее. Это была настоящая аскеза в миру. Херасков наблюдал за каждым ее шагом, часто ее подслушивал, требовал от нее полную искренность. „[...] я уверен, что ты меня будешь любить и открывать мысли свои, намерения и даже самые малейшие движения сердца твоего [...]“ (с. 53)^{lvii}. Выходит, что она 399 | 400 страстно желала смерти своего „путеводителя“, но наконец привыкла к масонской „работе“ самой по себе и полюбила Хераскова. Когда Карамышевы взяли ее с собой в Сибирь, „наставник“ ей очень не хватал. Она, однако, скоро обрела нового в лице губернатора Иркутска. Он предложил ей свою дружбу и сказал после разгоряченного признания: „Дочь моя и друг мой! Сколько мое сердце желает тебе добра и спокойствия, это видит мой Спаситель. Твое спокойствие тесно сопряжено с собственным моим спокойствием; сердце мое открыто для тебя, пусть и твое будет таково!“ (с. 88)^{lviii}. Воспоминания Лабзиной являются примером нравоучительной масонской литературы, своего рода *Житием*.

¹⁶ Оно так охарактеризовано таким исследователем как Модзалевский (в предисловии к изданию Русской старины, 1903): „[...] воспоминания Лабзиной и дышат откровенностью, простотой и безыскусственностью [...]. Бесхитростный рассказ [...]“.

Само собой разумеется, что такие более или менее полные литературные обработки автобиографического материала сравнительно редки¹⁷. Но „литературные“ элементы обнаруживаются в множестве действительно выходящих за рамки литературы *памятников домашней письменности, – в письмах и дневниках, которые тогда писались* всеми образованными [людьми]. В большинстве случаев очень трудно провести границу между „литературным“ и „нелитературным“, просто на том основании, что сами пишущие очень редко преследовали при письме только одну цель: создавая письма и дневники, они стремились, с одной стороны, высказаться перед другим или перед собой, а, с другой стороны, *учились языку, „упражнялись в стиле“*, причем последнее изображалось как решительный толчок писать. Так, 16-летний граф Алексей Орлов обращается в 1785 г. к своему дяде, графу Федору Григоровичу Орлову, с просьбой переписываться: для него это было бы очень ценным^{lix}, потому что не только будет способствовать изучению русского языка, но и откроет случай разговаривать с дядей письменно. Отец юного графа, Владимир Григорьевич Орлов, делился с своим сыном, что сам он в переписке „начинающий“, и дал ему совет давать и собственные, и отцовские письма наставнику на просмотр: он надеялся иметь возможность писать почаще, что поспособствовало бы его собственному „образованию“ (Русский архив, 1908, Т. III [=вып. 9–12], с. 147–149). В 1789 г. Никита Петрович Панин обручился с 15-летней дочерью графа Владимира Орлова. С позволения будущего тестя он вступил в корреспонденцию с невестой. В своем первом письме он поделился с ней „кратким означением главнейших правил употребляемого в переписке слога“. Это „ясность и краткость“, „простота слога“, отказ от „сравнений, аллегорий и отступлений“, которые „употребляются в возвышенном стиле“ (ib., с. 179 ff.)^{lx}. К этому времени относится и переписка между живущим за границей камергером В. Н. Зиновьев и полковником графом Цициановым. Последний упрекает своего корреспондента в грамматических ошибках на русском и французском языках, подвергает его письма грамматическому и стилистическому анализу (Русский архив, 1872, стлб. 2140 и passim^{lxi}). Такую установку к письмам можно проследить и в 19 в. Еще в 1811 г. Александр Тургенев пишет своему брату Сергею в Геттинген: „[...] пиши больше и чаще по-русски и старайся всегда, даже и в письмах ко мне, писать правильнее“, и он рассказывает, что раньше сам в своих письмах „не думал о сохранении чистоты в слоге“ (Архив братьев Тургеневых, Т. II, с. 450^{lxii}).

Развитие эпистолярной литературы и в связи с этим выработка правил эпистолярного стиля общезначимый для 17 и 18 вв. факт. Но в России значение этого факта усиливается еще одним особенным обстоятельством. Рост общественного сознания в России 18 в. выдвинул на передний план проблему, которой в Западной Европе занялись намного раньше: проблему *формирования общего литературного языка*. В западноевропейском культурном мире эта проблема воспринималась прежде всего как проблема объединения и развития языка, уже созданного большими поэтами. В России было по-иному. В западноевропейских странах издавна имелись два языка: один „ученый“, латынь, и другой, собственный, „народный язык“, *sermo vulgaris*, которые четко различались между собой. Поэтому самостоятельные национальные языки могли развиваться только на основе народных диалектов, из „vulgaria“. Писатели пытались „облагородить“ эти диалекты, приблизить их к форме „грамматического“ языка, не более. Отношение „церковнославянского“ к народному языку в России было иным, чем отношение латинского к „sermo vulgaris“ [народная латынь]. Этот „церковнославянский“ язык был для населения понятным и в равной степени считался

¹⁷ В этой связи я сознательно оставляю шедевр автобиографической литературы 18 в., заметки княгини Н. Б. Долгоруковой, без внимания: он занимает особое место в эту эпоху, так как по языку и стилю возвращается к литературе 17 в., и почти исключительно к „Житию протопопа Аввакума“.

вторым русским языком, точнее русским *литературным* языком. Ломоносов так приспособил традиционное учение о *трех стилях* к русскому литературному развитию, что санкционировал широкое употребление церковнославянского в произведениях „высокого стиля“. И так как большое число 401 | 402 образцовых произведений 18 в. принадлежало как раз этой категории, то во второй половине столетия, по мере того как культура охватывала более широкие общественные слои и перестала быть исключительно „дворцовой“, „праздничной“, „парадной“, произведения „высокого стиля“ уже не удовлетворяли, и отнюдь не только в стилистическом, но и в лексическом отношении: просто чрезмерное употребление церковнославянских выражений и оборотов дискредитировало славянский элемент в языке. Основой общего литературного языка хотелось сделать *бытовой язык* образованных слоев: то, что осуществил в этом отношении Карамзин, ощущалось как *задача* уже Третьяковским¹⁸. Когда образованный Russe работал над своим эпистолярным стилем, в котором „было сделано правилом писать так, как говорят“, работал он, впрочем, *eo ipso* над языком. „Домашняя“ литература сыграла таким образом в России ту роль, которую сыграла литература салонов, кружков и „академий“ в Западной Европе. Это обстоятельство было одной из причин ее чрезвычайного распространения (наряду с другими общепринятыми [причинами], как принадлежащий „чувствительному“ столетию культ „дружбы“ и как стремление к „сердечным излияниям“).

Наряду с письмами дневники тоже писались для упражнения в стиле. [А.] С. Пишчевич описывает свое времяпровождение во время Крымской кампании (1784) следующим образом: „Сверх моей должности, остальное время я проводил записыванием всего того, что находил любопытства достойным по службе и в разговорах; в сем случае имел я предметом то, чтобы изострить себя хотя немного к писанию российского языка, ибо до сего я не мог порядочно ничего написать [...]“. Это занятие он продолжал и дальше, так как привыкал „сообщать бумаге свои мысли“ (Жизнь, с. 40 и 50)^{lxiii}. Еще Языков давал в одном письме своей сестре Екатерине Михайловне совет вести дневник для развития стиля^{19, lxiv}. В остальном провести четкую границу между письмом и дневником, следуя форме, почти невозможно: путевые дневники часто писались в форме писем, а письма часто отправлялись как „журналы“ (так переписывался напр[имер] Фонвизин с своей сестрой).

Путевой дневник в форме писем „другу“ или „друзьям“ был канонизирован благодаря „Письмам русского путешественника“ (1791) Карамзина; это произведение вызвало большое число подражаний и способствовало тому, чтобы граница между „домашним письмом“ и выраженной „литературой“ еще больше размылась. Учившийся в Гет- 402 | 403 тингене Александр Иванович Тургенев писал оттуда письма своим родителям. В одном из писем он просит простить его, что он „слишком просто изъясняется“, будучи уверен, что „церемонные письма“ от него им едва ли будут приятными (1802, Архив братьев Тургеневых, Т. II, с. 4)^{lxv}. В то же время он планирует работу/произведение, подобное/похожее „Письмам русского путешественника“: „Для чего не написать мне своего путешествия в письмах? Пусть составят он небольшой, но отборный томик...“, заносит он 23 июня^{lxvi} 1803 г. в свой дневник (ib., с. 232). И снова 28 июня: „Еще новый план выдать мое путешествие – в письмах [...] и их, не только следуя *обыкновенно* (подчеркнуто Тургеневым) надписать их к одному другу и посвятить их ему же“ (234)^{lxvii}. Языков писал своему брату в 1823 г. из Дорпата, что Княжевич советовал^{lxviii} ему записать и отпечатать свое путешествие в Ревель: „...[Н]о я боюсь [...], что это предприятие мне никакую честь в литературе не принесет, потому что не все то достойно внимания публики, что пишется для одного дома“ (Языковский

¹⁸ В предисловии к своей аллегории в прозе „Езда в Остров любви“.

¹⁹ Ср. Шенрок: Н. М. Языков (Вестник Европы, 1897, XII).

архив, Т. I, с. 87)^{lxi}. В 1797 г. вышла книга, которая не имела дела с „чувствительным путешествием“: доклад А. Фомина о своей научной экспедиции в Белом море. Но оно несет заглавие „Описание Белого моря, представленное в письмах“^{lxx}. Насколько фиктивной была выбранная форма, можно судить из заключения к книге: „Архангельск показался уже в виду[...] – Вскоре я надеюсь иметь удовольствие по тринадцатидневном разлучении с вами увидясь, вручить вам все писанные к вам пис[ь]ма самолично. Сим приятным воображением окончеваю дорожную мою переписку“^{lxxi} (196).

Историки литературы, игнорирующие „домашнюю“ литературу, поступают совершенно неправомерно, так как современникам эта письменность представлялась настоящей литературой. Люди учились писать частные письма в школе по правилам, которые можно было найти в учебниках по языковедческой теории. При этом интересно, что как раз авторы этих учебников к началу 19 в. восставали против ставшей тогда модной чрезмерной „литературности“ этих писем, т. е. против злоупотребления „чувствительным стилем“^{20,lxxii}. Историки 403 | 404 литературы и культуры, которые одаривают „домашнюю“ литературу вниманием, наоборот, исследуют ее лишь односторонне: „домашняя“ литература рассматривается ими как *культурноисторический факт*, который характеризует определенные культурные тенденции, а не как *факт литературноисторический*, который сыграл роль *культурноисторического фактора*, а именно как процесс усвоения литературной *формы*, литературных приемов, композиционных и стилевых схем. Такой процесс всегда имеет на своей первой стадии освобождающее значение, тем, что он стимулирует работу сознания и облегчает осознание духовных тенденций, до данного момента дремавших и из-за привычки к традиционным формам омертвевших. Тем, что читатель подражал „чувствительной манере“ и тем самым осваивался с нею, он стал „чувствительным человеком“; тем, что в своем дневниковом письме он упражнялся в „совершенствовании своего стиля“, он привыкал к рефлексии, к самонаблюдению и самоисследованию; тем, что он сделал своим собственным стиль своих любимых писателей, он стал их лучше понимать и погружаться глубже в содержание их произведений. Этим становится объяснимой судьба целого направления внутри того общего культурного движения, которое превратило домашнюю литературу в „интимную“, в „литературу сердечных излияний“, а именно т. наз. „карамзинизма“. Авторитет Карамзина был настолько большим, что после издания его „Писем русского путешественника“ и „Бедной Лизы“ (1792) сентиментализм и карамзинизм стали идентичными понятиями, и каждый „чувствительный человек“ был карамзинистом. Но Карамзин дебютировал тогда, когда „*éducation sentimentale*“ русской интеллигенции в существенном уже кончилась. Именно поэтому люди, стоящие интеллектуально на уровне Карамзина, с ним лично тесно связанные, почитавшие в нем первого настоящего „русского европейца“, лишь в ограниченной степени стали „карамзинистами“. Они очень быстро научились отделять в произведениях Карамзина содержание от формы и одновременно (и в связи с этим) язык от стиля. Они считали себя учениками Карамзина, как писателя, который обогатил русский словарный запас

²⁰ Н. Греч (Учебная книга российской словесности, 1819, Т. I, с. 52–59) исследует разные виды писем, выделяет „дружеские письма“, которые, по его мнению, „более легче всех прочих, ибо в них участвуют и ум и сердце“ [выделено П. Б.], и советует, „в сих письмах избегать излишней чувствительности, которая легко может сделаться приторною“. Кошанский (Частная риторика, 1832, с. 24 до 37) различает между „письмами к родным и друзьям“, в которых „недостатков не бывает, ибо все приятно от друга“ [с. 24], и *литературными письмами*; но он заодно указывает, что последние „большою частью принимают тон дру-403 | 404 жеских, пользующихся правом изменять слог до бесконечности, говорить важно и забавно, простодушно и замысловато...“ [с. 32]; этим он втаскивает собственно письма „друзьям“ в литературу. Как образец эпистолярного стиля он рекомендует „Письма одного жителя предместья“ и „Письма Эмилю“ М. Н. Муравьева: „с большою пользою могут быть читаны в классах“ [с. 37].

переводами иностранных слов, освободил язык от устаревших церковнославянских оборотов и приблизил его строй к строю обиходного языка; однако в равной степени они вполне решительно отходили от „чувствительной манеры“, санкционированной, казалось бы, Карам- 404 | 405 зиным^{21, lxxiii}. Они первым делом поняли, что она „общезначимого стиля“ не дает, да и дать не может, и что возможен лишь персональный, каждому отдельному поэту свойственный стиль.

Такое понимание значения стиля, которое возникло из воспитанных в школе сентиментализма персонального сознания и углубления и интенсифицирования самосознания, было органически связано с еще одним фактом: с разделением понятий „человек“ и „писатель“, *интимного* самоизложения и самоизложения *посредством искусства*. Князь П. А. Вяземский, еще с молодости один из ближайших личных друзей Карамзина и одновременно с тем один из убежденнейших „анти-карамзинистов“, в своей старости характеризовал письма Карамзина следующим образом: „Личность и задушевность выглядывают из почти каждого письма [...] В других творениях Карамзин *писатель* занимает самое высокое место, в *письмах* это место принадлежит *человеку*“ (Произведения, Т. VIII, 136 ff.^{lxxiv} [Выделение принадлежит П. Б.]). Применима ли эта характеристика к письмам Карамзина, это другой вопрос. Само собой разумеется, освобождение от „литературы“ в письмах и дневниках удастся легче всего настоящим поэтам, для которых литературное произведение является саму себя развивающей из художественной идеи, самодостаточной, самозаконной формой. Поэтому в тех случаях, когда при составлении письма ставили перед собой внелитературную задачу, они могли просто не пользоваться литературными средствами. Другим, при сочинении интимного письма, приходилось сознательно отрываться от шаблонов „литературного“ письма, имитирующего „дружеское“. Друг Пушкина, Вульф, отмечает в своем дневнике (1829): „Вчера [...] начал [...] писать к Языкову; [...] я уже раз начинал к нему письмо, но не удалось кончить. Я все хотел писать занимательно и приятно – и оттого никогда не был доволен тем, что я писал. Теперь я решил просто рассказать все, что со мною случилось и что видел замечательного [...]“ (Дневник, изд. 1929, с. 217)^{lxxv}. Надо принять, что поэт Н. М. Языков просто подшучивал над эпистолярными шаблонами, когда он отвечал своему брату (который его попросил написать их сестре „по какому-нибудь предмету ее образования“): 405 | 406

„[...] Такие письма тем труднее, что их должно будет, как говорит Любарский или П. Сумароков, расцветивать шутками и прибаутками“ (1823; Языковский архив, Т. I, с. 97)^{lxxvi}.

Одновременно с сентиментализмом и его литературой роль в воспитании „внутреннего человека“ сыграло и масонство. „Сентиментальные путешествия“ и масонская работа преследовали одну и ту же цель – самопознание и самоосуществление. В масонских духовных упражнениях самоисследование занимало одно из первых мест. В переведенной Иваном Петровичем Тургеневым работе „Иоанна Масона“^{lxxvii} говорится, что для самоисследования надо пользоваться записной книжкой, в которой „все вкратце изображено быть должно и которую должно каждый год прочитывать“^{lxxviii}. Сохранился отрывок 1788 года из дневника Ивана Тургенева, „исповедь“, предназначенная, по предположению его биографов²² для братьев по ордену. Она напоминает сознание в грехах Пьера Безухова („Война и мир“ Толстого)

²¹ О реакции людей, лично связанных с Карамзиным, против „карамзинизма“, как литературного стиля, ср. В. М. Истрин: „Младший тургеневский кружок“ (Архив братьев Тургеневых Т. II); Е. И. Тарасов: Н. И. Тургенев; Истрин: Дружеское литературное общество, Ж.М.Н.Пр., 1908, № 8.

²² Е. К. Тарасов: Масон И. П. Тургенев, Ж. М. Н. Пр. 1914, № 6 [см. прим. lxxvii в конце]. О масонском воспитании „внутреннего человека“ ср. Г. Вернадский: Русское масонство в царствование Екатерины II, [Петроград: Тип. АО типографского дела,] 1917, с. 137–148.

при его принятии в орден. Иван Тургенев убедил сыновей вести дневники. Александр Иванович Тургенев отмечает 25. 10. 1803 г. в своем дневнике: „[...] Мне надо с благодарностью выписать то место из „Philosophen für die Welt“^{lxxxix} (немецкий в оригинале [П. Б.]), которое напомнило мне о моем забытом журнале. [...] Вот что вписал в белую книгу **мой** добрый и умный отец, которую он подарил на новый год своей дочери, желая, чтоб она от времени до времени вела журнал свой и записывала бы в нем свои мысли, чувства, или старалась бы **в краткости** выразить на письме то, что она читала в авторе: «Таким образом, говорил он, они для тебя поясняются и превращаются в твою собственность; часто даже рождают в тебя самой другие и развивают способность мыслить». – Не то ли же самое советовал мне Батюшка? не просил ли он меня вести журнал во время своего вояжа? [...]“ (Архив братьев Тургеневых, Т. II, с. 252²³)^{lxxx, lxxxii}. В письме своим родителям он пишет (1802): 406 | 407 „Вы изволили писать, что вам угодно видеть журнал мой, который я вел во время дороги. – Я порядочного, ежедневного журнала не писал, а иногда, желая выразить те чувства, которые сперва погребал я в себе [...]“ (ib., с. 36)^{lxxxii}. Начиная свой дневник в Геттингене, он писал: „Наконец начал и я писать журнал свой; для других он не может быть интересным, mais aussi je en prétends pas à cela; довольно, что он напомнит мне со временем все, что со мной было; довольно, если он для меня будет *зеркалом души моей*²⁴!“^{lxxxiii} (с. 177 [Выделение – П. Б.]^{lxxxiv}. Его брат Андрей Иванович послал ему свой дневник. Александр заносит: „Как приятно проводил он свое время и как умел живо и интересно выразить все, что чувствовал, что видел. Какая прямота, непринужденность, *Unbefangenheit* [непосредственность]²⁵, в мыслях, чувствах и выражениях! Дневник его есть *зеркало*, в котором видишь прекрасную, благородную душу, образованную красотою природы и поэзии“ (с. 186 [Выделение – П. Б.]^{lxxxv}. Под впечатлением смерти Андрея заносит он 29. 10. 1803 г.: „Опять принимаюсь за журнал свой [...] Но вряд ли будет он уже для меня тем, что прежде. Может быть, встречаются будут замечания из лекций, кой-какие мысли, рассуждения; но чувства, сердечные излияния, верно, редки будут, или, по крайней мере, сконцентрированы все на один предмет (умерший брат), который всегда перед глазами моими [...]“ (с. 251)^{lxxxvi}. В 1808 г. Николай Тургенев перебрался в Геттинген. Александр написал ему в Геттинген и убеждал его писать дневник: „Все твои *мысли и чувства, которые ты будешь ему (дневнику. П. Б.)* вверять в продолжение твоего странствия, будут для тебя неисчерпаемым источником приятнейших воспоминаний [...], а для друзей и братьев твоих – чистым, нелicenseрным зеркалом души твоей“^{lxxxvii}. Когда-нибудь братья сошлись бы и прочли бы друг другу свои дневники, „к которым присоединится и журнал | 408 брата, друга и благодетеля нашего Андрея“ (с. 359).

²³ Тот же самый совет был дан А. Я. Булгакову его родителями, когда он в 1800 г. отправился в Италию. Булгаков, которому тогда было 18 лет, приехал в Италию, „сие царство праздности, неги, сладострастия и разврата“ и провел свое тамошнее время соответственно, что он внес в свой дневник. По своему возвращении он показал этот дневник своему отцу. Тот засмеялся и сказал: „[...] Журнал твой не соответствует цели, для которой я советовал тебе вести оный. Ты написал просто в роли Фобласа [...]“. Ему следовало бы в самом деле зарегистрировать, 406 | 407 обычаи, нравы, достопримечательности и т.д. (Заметки Булгакова, Старина и новизна, Т. XXII, с. 104 ff.).

²⁴ По всей вероятности заимствование из Вертера: „Ах, мог ли бы ты это снова выразить, мог ли бы ты вдохнуть бумаге то, что так полно, так тепло в тебе живет, чтоб она была *зеркалом души*, как твоя душа есть зеркало бесконечного Бога“ [дословный перевод с немецкого мой, Й. Л.]. Выражение „зеркало души“ превратилось в общее место. Мы находим его напр. в дневнике одного незнакомого, который велся в 1797 г. в дороге из Москвы в Гродно. Дневник начинается с цитаты из Вертера (в русском переводе), далее следует: „Моя дорожная записка мне нравится, может быть для что *моя*, и что я могу смотреться в нее как будто бы в *зеркало*...“ (Шукинский сборник, II, 216) [Выделения – П. Б.].

²⁵ Немецкий в оригинале.

Стремление к нравственному самоосуществлению, типическая для русской интеллигенции 18 и начала 19 в. черта, многих втянуло в масонство. Вышеупомянутый В. Н. Зиновьев отмечал в своем дневнике в 1786 г. во время одного пребывания в Англии: „Если я в сей земле не сделаюсь добрым человеком, то я нигде оным быть не могу, ибо по обыкновенному своему отменному счастью я (по)знакомился с весьма добрыми людьми и оно служит мне к моему исправлению“ (Русская старина, XXIII [1878, вып. 9–12], с. 138 ff.)^{lxxxviii}. Из его переписки с Цициановым выясняется, что в то время он мечтал о масонстве. Цицианов, кому это движение было несимпатичным, предостерегал своего друга от этого увлечения. Позже (1806) Зиновьев издал свои воспоминания в форме адресованных теще исповедей. Он рассказывает о своем религиозном сомнении и своем поиске, об отношении к [Луи-Клод де] Сен-Мартену, о вхождении в масонский орден, делится признаниями о своих слабостях (вспыльчивость, склонность к укорам), упоминает моменты религиозного озарения (ib., с. 613–627)^{lxxxix}. Декабрист Беляев (рожд. 1803) рассказывает в своих заметках о своей жизни в морском корпусе [т. е. корпусе морской пехоты] и о первом году после окончания обучения там. В школе было много учеников (среди них он сам), которые „домашним воспитанием были настроены религиозно“, и „единомышленники“ часто вели „религиозные разговоры, которые укрепляли сердце в блаженстве“^{xc}... Когда в 1817 г. он кончил обучение в морском корпусе, „началась его новая жизнь с прекрасным направлением и жил он как философ“^{[“]26,xc1}. „Согласно с моим религиозным настроением, которое было плодом домашнего воспитания и моего *возрождения* в корпусе, [...] я писал каждый вечер, возвращаясь домой, свой дневник, в котором записывал все впечатления дня, все, что было со мною, все что говорил или делал хорошего или дурного и во всем дурном я приносил покаяние, обращаясь в молитве к Богу и принимая решимость исправиться“ (Русская старина, 1880, дек., с. 825 ff. [Выделение принадлежит П. Б.]^{xcii}. Религиозное сомнение потянуло его к масонству. Масоном он не стал, потому что в 1822 г. все состоящие на военной службе, должны были дать письменное обещание не принадлежать ни к какому тайному обществу, но влияние масонства у него ясно чувствуется. На то уже указывает использованный им масонский термин *возрождение*. 408 | 409

Похожими чертами наделен у Толстого Пьер Безухов. Вместе с тем Толстой перенес на своего героя известные семейные особенности Тургеневых²⁷. Но примечательно то, что никто из сыновей Ивана Тургенева, который был одним из столпов масонства в России, не стал масоном, – несмотря на духовную близость с отцом и с его другом по ордену, И. В. Лопухиным, – наверное потому, что они очень хорошо знали, что собой представляет орден в действительности. Духовно независимых людей масонство отталкивало сектантской узостью, нетолерантностью, моральным деспотизмом, бессознательным притворством, – все это тонко подмечено Толстым. Один из лучших знатоков истории русского масонства, Барсков, очень верно указал на то^{28,xciii}, в какой большой степени масонская принудительная „дружба“ разрушала настоящие дружеские отношения, возникшие между братьями. Карамзин, стоящий очень близко к семье Тургеневых, относился холодно к масонству, равно как и Вяземский.

²⁶ Этот 14-летний философ был современником „восемнадцатилетнего философа“ Евгения Онегина, „москвича в плаще Чайльд Харольда“, который уже самому Пушкину почудился пародией. Эта последняя разновидность „философа“ привлекла внимание русских историков культуры в наибольшей степени.

²⁷ Я уже указывал, что Иван Тургенев обвиняет себя в тех же грехах, что и герой Толстого (прожорливость и женщины). Невоздержанностью в еде выделялся тоже Александр Ив. Тургенев, чья тучность (снова параллель с Безуховым!) была для его друзей постоянным объектом анекдотов.

²⁸ В предисловии к им изданной „Переписке московских масонов с Кутузовым“.

Неприязнь к конвенциональным литературным „стилям“ и неприязнь к конвенциональным типам „идеального человека“ суть две стороны одного и того же культурно-исторического движения. Новый человек желает прежде всего быть самим собой. Если он занимается самоанализом, он желает себя индивидуализировать. „Каков я? Что во мне хорошего? Что худого?“, так спрашивал себя Жуковский (1805). „Что сделано обстоятельствами? Что природою? [...] Что можно исправить и как? [...] Какое счастье мне возможно по моему характеру? Вот вопросы, на решение которых должно употребить несколько (много) времени. Они будут решаемы мало-помалу, во всё продолжение моего журнала. [...] Вчера и нынче я думал о своем характере. Не знаю точно, как определить его. [...] Буду замечать себя по частям (как позднее делал и Толстой), и потом из сих частных замечаний сделаю общее заключение“ (Дневник, изд. 1901, с. 12 ff.)^{xciv}. Так же^{xcv} и Николай Тургенев объективирует себя так сказать в своих юношеских дневниках, говорит с собой, как с чужим. Он расчленяет свое Я на разные голоса и для каждого голоса ведет особую тетрадь: „Бред мой“^{xcvi}, „Моя скука“^{xcvii} и т.д. „Эти стихи, говорит он об одном английском сти- 409 | 410 хотворении, мне понравились. Для них взял я *Бред мой*. Хотел их вписать; суди, Н.(иколай) Т.(ургенев), об их достоинстве, которое было в состоянии преодолеть твою и мою лень!“ (Архив братьев Тургеневых, Т. I, с. 92)^{xcviii}. Самовоспитание Н. Тургенева произвело позитивный результат: он постиг единство характера и он это сознавал, как показывает заметка от 7. 1. 1816 [г.] (во Франкфурте): „Переход людей от *жизни-в-мечте* к действительности. Кто хочет узнать человека, должен узнать жизнь его. Характер человека познается по той главной мысли, с которою он возрастает и сходит в могилу. Если нет сей мысли, то нет характера“ (Архив [братьев Тургеневых], Т. VI, с. 3)^{xcix}. Проблему единства характера затрагивает и Вяземский в одном письме А. И. Тургеневу (1819): „[...] Черт знает, вся моя жизнь как-то в отрывках; по крайней мере в том, что относится до исполнения жизни. В плане есть целость. Мне удастся обтесать несколько хороших чувств и мыслей, но в пантеоне потомства ни один мрамор не будет свидетельствовать о бытии моем“. Дружба для него стоит, если в ней раскрывается его настоящее Я^c. „Как же мне вас не любить, друзей моих! От вас, я могу надеяться, не ускользнет ни одно изящное помышление, ни одно благое движение“ (Остафьевский архив, Т. I, 185 ff.)^{ci}. Дневник теперь превратился в настоящий „journal intime“. Известный декабрист Иван Ив. Пущин пишет в начале своих воспоминаний о Пушкине, с кем вместе он был в Царскосельском лицее: „[...] [Я] чувствую, что очень поспешно и опрометчиво поступил, истребивши в Лицее тогдашний мой дневник, который продолжал слишком год. Там нашлось бы многое, теперь отуманенное; всплыли бы некоторые заветные мелочи, – печать того времени. Не знаю почему, тогда мне вдруг показалось, что было бы нескромным вынимать из тайника сердца первые его трепетания, волнения, заблуждения и верования“ (Записки и письма, 1927, с. 49)^{cii}.

Значимость той или иной культурной тенденции определяется тем, насколько она превращается в моду и вызывает иммитации и подражания. Поэт Денис Васильевич Давыдов, который в своих стихотворениях стилизовал себя под чистосердечного гуляку и искателя ссор (так изобразил его и Толстой в „Войне и мире“ под именем Васьки Денисова), писал Вяземскому в 1818 г.: „В праздные часы я занимаюсь приведением в порядок *Дневника* моих *поисков*, и уже почти половину написал. Там я весь: дурен ли, хорош ли, но чувства и мысли мои – все там“. Что для него это было в действительности самолюбованием и „литературой“, можно видеть из следующего: 410 | 411 „Когда кончу, немедленно пришло к тебе помыть и поутюжить“ (Старина и новизна, XXII [1917], с. 27).

Не менее симптоматичны однако и такие примеры воздействия культурной тенденции на „людей среднего круга“, в отношении которых нельзя говорить о

подражании, но о настоящем усвоении. Такой пример предлагает дневник Вульфа, друга Пушкина, человека, который никоим способом не возвышался над тогдашним средним образовательным уровнем. Ведение дневника он считал своим единственным стоящим занятием (с. 278). Время от времени от прочитывал свой дневник и сравнивал себя в настоящем с собой в прошлом. „[Я] принялся разбирать мои книги и бумаги; петербургский дневник мой остановил меня, и я его до тех пор не пустил из рук, пока всего не пробежал. Очень много принес он мне удовольствия: теперь узнал я всю цену дневным запискам. Я все перечувствовал, что со мною случилось тогда; сравнил тогдашние мои желания и мнения с нынешними, нашел последние переменявшимися, а первые совершенно противоположными ...“ (5. XI. 1829, с. 224). 20. 8. 1830 он записывает: „Вот прошел год, что я продолжаю почти непрерывно мой дневник [...]. В 32 листах, мною написанных, мало любопытного: они заключают в себе одни описания нужд и неприятностей, перенесенных мною, и впоследствии будут для меня замечательны, как живое изображение постепенного разочарования.“ (с. 271). 17. 7 [опечатка или ошибка переводчика в расшифровке рукописи, ср. „VII“ и „XII“; в самом деле – „декабря“]. 1829, на своем дне рождения (ему было тогда 25 лет), он производит наблюдение над собой: „Много размышлений раздается при взгляде на прошедшие годы – и мало утешительных. Каким добром, чем полезным себе или обществу ознаменовал я половину [...] данных лет? Со стыдом и сожалением я должен сознаться, что не могу дать никакого ответа на этот вопрос“ (с. 243)^{ciii}. В 1836 г., после двухлетнего перерыва, он снова берется за свой дневник: „Следовало бы сперва сделать очерк самого себя и прибавить, в чем я изменился с того времени, как письменно не излагал отчетов о самом себе.“^{civ} „Портреты“ однако ему никогда не удавались^{cv}. Все таки он пытался и начинал с „тела“ (хорошее здоровье, научился танцевать). Потом переходил он к „духовным изменениям“: „...[Я] стал еще реальнее прежнего (здравый смысл Вульфа был общеизвестен) и вовремя почти оставил идеализм, с которого прежде все начинал. Это господствующее направление подействовало и на нравственное состояние мое. Мои увлечения близки к действительности; я ухаживаю не для славы и не из честолюбия! Главное женщины. То же самое с картами. Самовластный, нетерпеливый, 411 | 412 вспыльчивый характер [...] Большой недостаток силы воли [...]“ (с. 374–376)^{cvi}. Еще раньше он отмечает следующую перемену в себе: „я стал менее взыскателен с моими товарищами и, кажется, менее стараюсь выказывать свои собственные, мнимые или настоящие, достоинства. Самонадеянности я столько потерял, что даже и с женщинами я застенчив до юношеской стыдливости...“ (с. 271)^{cvi}. Самоанализ Вульфа в целом неглубокий – весь его смысл тоже, но важны открытость и прямота лицом к лицу с собой, полное отсутствие какого бы то ни было и „образца“, и „литературной искусности“. Тяга к конкретному обнаруживает себя у Вульфа и в его отношении к другой индивидуальности. Когда он прочитал Байроновскую биографию Мура, задумался над проблемой восприятия чужой индивидуальности: „Всегда предпочитал я и любил преимущественно этого певца [...], но с тех пор, как Мур [раскрыл] [...] всю жизнь его и показал характер его со всех сторон, во всех положениях его жизни и в постепенном развитии одного, то сделался я даже пристрастным обожателем его слабостей в такой же мере, как любишь недостатки своей любовницы. [...] Кажется, будто бы я вместе с ним жил, – так живо я себе представляю его образ жизни, его привычки, странности. Даже умственное бытие его, то, что мучило и улаждало дух его творческий, как поэта и как простого человека, стремящегося к истинному и идеальному, постиг я и, как обыкновенно это случается, сверяя с своими идеями, находил часто сходными, вероятно, потому, что прежде, быть может, почерпнув их от него же, присвоив себе, считал за собственные“ (с. 350)^{cvi}.

При изучении русской литературы поражает срыв преемственности с 18 в. к веку классической литературы, начинающегося с Пушкина. Там стесненность конвенциональными „правилами“ и „стилями“, здесь полная творческая свобода, связанная с вовсе необычным мастерством в форме. В 18 веке был один единственный художник языка, который не придерживался традиционного канона тогдашней поэтики, учения о „родах“ и „стилях“ в литературе, а совсем сознательно бросил их всех в сторону. Это Державин. Но ему пришлось дорого купить свою свободу. Его свобода граничит с варварством. Уже Пушкин ощущал его язык *чужим*; ему поэтому казалось, что Державин родного языка не знал и что его гений выиграл бы переводом на иностранный язык.^{сix} Язык Державина ощущается чужим и современным русским читателем, тогда как язык Пушкина – это их собственный язык, употребляемый им самим, хотя между ним и Пушкиным лежит промежуток в 100 лет, и Державин смог в 1816 г. „благословить“ поэтическую деятельность начинающего Пушкина (Евг. Онегин, VIII, строфа 2). При этом надо подчеркнуть, что во время расцвета Державина никто не замечал в его языке то „варварство“, которое так привлекло внимание Пушкина. Не только язык Державина, весь *литературный* язык 18 в. кажется сегодняшнему русскому „иностранном“ языком. При этом выходит так, что чем более высокому жанру принадлежит произведение того времени, тем иностраннее, менее русским звучит его язык. И чем ниже „жанр“, тем приглушеннее ощущает русский 20-го века иностранность в отношении языка соответствующего произведения. Известно, что в произведениях низких „жанров“ не только разрешено, но и желательно писать так, как говорят. Из этого следует, что *общий* русский язык развивался на основе бытового или разговорного языка. Однако эта формулировка выражает только *одну* сторону этого процесса. Разговорный язык, если иметь ввиду очень низкий культурный уровень русских „средних людей“ 18 в., был тогда все еще очень бедным и неразвитым. Лишь очень постепенно, параллельно с тем, как „художественный“ литературный язык все больше упрощается, разговорный язык становится, по формулировке князя Н. С. Трубецкого²⁹, „литературным“. В свое время казалось, будто Карамзин с его реформой размыл границу между литературным языком, приблизившимся к разговорному, и этим последним, ставшим уже достаточно „литературным“. Основание для этого не только „чувствительный“ стиль Карамзина, но и сохраненные этим стилем архаизмы в порядке слов и строении предложения. Совершенствование разговорного языка, его превращение в свободное средство выражения любой мысли, любого переживания является в России достижением коллективной работы в области „домашней“ литературы. Это превращение разговорного языка также сделало возможным возникновение *классической* литературы, литературы, своей престижностью остановившей или по меньшей мере замедлившей развитие общего языка. Писание писем, дневников, воспоминаний имеет в России ту роль для поднятия общей языковой культуры, для обогащения повседневного языкового запаса и в равной мере для [их] упрощения и рационализации, какую в Европе сыграли „салоны“, „академии“ и клубы – в самом деле в России го- 412 | 413 род в общем и столица в частности были наделены намного более скромным значением, чем в западноевропейских странах. Показательно, что из двух русских столиц средоточием духовной жизни осталась преимущественно та, которая со времен Петра в сущности перестала быть столицей: Москва; зимой Москва превращается в резиденцию поместных дворян, которые переносят сюда образ жизни своих поместий. „Званка“, поместье Державина, *Михайловское* Пушкина, *Остафьево* князей Вяземских, *Прямухино*^{сх} Бакуниных, *Абрамцево*^{сxi} Аксаковых, *Ясная*

²⁹ Ср. Н. Трубецкой: К проблеме русского самосознания, 1927, с. 68.

Поляна Толстого и мн. др., – это настоящие очаги русской культуры. Состояние пространственного рассредоточения, в котором оказалась русская духовная аристократия, отсутствие общественной жизни, сила цензуры, запрещающей печатное слово, с другой стороны, способствуют тому, чтобы обмен между образованными людьми шел преимущественно *письменно*. Те же самые причины имеют решающее значение для того, чтобы помимо корреспонденции свое значение сохранили и другие разновидности „домашней“ письменности – дневник и воспоминания³⁰. Ряд явлений в истории русской литературы классического периода поддерживают это утверждение и заодно находят свое объяснение в том же феномене. Сергей Тимофеевич Аксаков, отец известных славянофилов Ивана и Константина, который родился в 1791 г., был в своей молодости последователем Шишкова, известного противника Карамзина; он пробовал свои силы в литературе, писал и оставил также несколько (очень слабых) опытов напечатанными, потом он это дело бросил. На склоне жизни, следуя просьбе своих детей, он начал писать свою автобиографию и „Семейную хронику“ – историю своего деда и своих родителей на основе семейной традиции. Так был создан один из шедевров русской литературы классического периода. Устойчивость образа жизни помещиков, жизнеспособность старой культурной традиции с необычайной наглядностью раскрывается в произведениях автобиографического характера Толстого. В автобиографическом рассказе раннего периода „Утро помещика“ Толстой живописует его жизнь в поместье в чертах, которые поразительно напоминают то, что рассказывал о своей деревенской жизни Болотов (см. выше). Известно, что Толстой вел дневник в течение всей своей долгой жизни. Его юношеские дневники очень напоминают своей структурой 413 | 414 Кенигсбергский дневник Болотова и дневник Жуковского. Подобно этим последним, Толстой „раскладывает себя“ „по частям“, анализирует себя, разносит свои собственные особенности по разным рубрикам³¹; подобно Болотову, описывает, что он делал и что собирался делать, давал сам себе предписания³². В своей молодости Толстой находился под влиянием „чувствительной“ литературы 18 в., на всю жизнь он остался последователем Руссо; эта литература оставляет свой отпечаток на „структуре“ и „стиле“ его „Детства-Отрочества-Юности“³³, романизированной автобиографии. Это не совпадение, что самый большой и совершенный *семейный роман* принадлежит как раз Толстому, который он выстроил до национального эпоса. Известно, что первоначально планы Толстого шли дальше: еще пару раз он возвращался к мысли написать семейную хронику, в которой должна была быть прослежена судьба многих поколений. Для „Войны и мира“ Толстой пользовался доступной ему мемуарной литературой времени Александра I в большой степени; не менее важной, однако, была для него и устная семейная традиция.

Так же как Толстой доводит до совершенства жанр романа-семейной хроники, так Достоевский извлек последние возможности другого жанра, тесно связанного с домашней литературой в России и находящегося с ней во взаимном влиянии, а именно роман-исповедь или автобиографический роман. Показательно то, что почти во всех произведениях Достоевского рассказ ведется от имени фиктивного лица. В нескольких случаях этот „я“ полностью нейтрален и пассивен, как в „Селе Степанчикове“, в

³⁰ Для исследования эволюции литературного вкуса и литературных течений в России в первой половине 19 в. документы и архивы Языковых, Тургеневых, князей Вяземских (переписка с его „бешенством“, Ал. Тургеневым!), записная книжка Вяземского, дневник Кюхельбекера и т.д. предлагают значительно больше материала, чем современные литературно-критические журналы.

³¹ По тем же рубрикам выстроены характеристики персонажей в набросках к „Войне и миру“.

³² С литературной стороны исследуются дневники молодого Толстого в ценной работе Эйхенбаума „Молодой Толстой“, 1922.

³³ Ср. Эйхенбаум, о. с.

„Бесах“, где он служит исключительно целям композиции³⁴. Наборот, в „Неточке Незвановой“, в „Униженных и оскорбленных“, в „Юноше“ этот рассказчик оказывается главным героем, или, по крайней мере, одним из главных героев, который рассказывает не нейтральным, „безлич(ност)ным“ языком хрониста, „инстанции посредника“, а языком индивидуализированным; и „Записки из подполья“, „Бедные люди“ это настоящие *солилокве*, в которых строй и тон „внутреннего“ языка, разговора человека с самим собой выдержан потрясающим образом. 415 | 416

В „Бедных людях“ Достоевский обновляет форму *романа в письмах*. От того, что герой романа, Макар Девушкин, переписывается с девушкой, которая живет *в том же самом доме*, никоим образом не следует, что эта форма в романе Достоевского лишь литературный „прием“. В российской провинции, а также среди нисших слоев общества в столице, жизненные отношения сохраняют довольно много архаических черт, в силу тех же самых причин; ограниченное значение „центра“ как регулятора культуры. Обмен письмами замещает непосредственный обмен мыслей в таком случае, когда последний был бы легко осуществимым, но переписка оставалась глубоко укорененной привычкой. Так переписывался в 50-ых годах 18 в. молодой офицер, М. В. Данилов, с живущей против него „амазонкой“ (дамой демимонда), хотя ничего не мешало ему посещать ее, что он и делал³⁵. Интересно, что герой Достоевского, Макар Девушкин, называет домашнего прислужника *Фальдони*, а прислужницу – *Терезу*. Тереза и Фальдони героини сентиментально-патетического романа середины 18 в.³⁶. Влияние старого романа на произведения Достоевского хорошо известно³⁷.

Рядом с романом в письмах и романом-исповедью Достоевский работал также в форме „сентиментального путешествия“. Так в 1863 г. он пишет „Зимние заметки о летнем путешествии“ [так!]^{cxii}. Так же, как и сентиментальные путешественники, издатели „дорожных дневников“, Достоевский обращается к фиктивным „друзьям“: „Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, дорогие друзья, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления“^{cxiii}, – начинает он. И дальше (гл. II) говорит, что желает поделиться своими дорожными впечатлениями: „[...] было же мне скучно в вагоне, ну так пусть теперь будет скучно и вам. Впрочем, других читателей надобно выгородить, а для этого включу-ка я все эти размышления нарочно в особую главу и назову ее *лишней*. Вы-то над ней поскучайте, а другие, как лишнюю, могут и выкинуть. С читателем нужно обращаться осторожно и совестливо, ну а с друзьями можно и покороче [...]“. Стерн в „Сентиментальном путешествии“ делает вид, что ведет устный рассказ; его якобы прерывает его друг Юджийн, которому он отвечает (в главе „Пульс“); Достоевский пользуется тем же приемом: „Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не 416 | 417 могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду [...]... Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений [...].“ и т. д. [„Зимние записки...“, гл. I]. Равно как и Стерн, он постоянно нуждается в отклонениях, которые вроде бы ненарочные и на которых он сам себя „ловит“: так, в конце первой главы он обещает написать в следующей „что-нибудь о Париже“^{cxiv}, и в конце третьей „вдруг“ вспоминает об этом: „Париж-то, Париж-то, ведь я о нем хотел говорить, да и забыл! Уж очень про нашу русскую Европу раздумался [...].“ (Ср. Стерн, „Сентиментальное путешествие“, конец главы „Паспорт“: „But this is nothing to my travels. – So I twice, – twice beg pardon for it.“^{cxv}). Так же как и Стерн, который как „сентиментальный путешественник“ противопоставляется путешествующим других

³⁴ Ср. об этом замечательную книгу М. Бахтина, „Проблемы творчества Достоевского“, 1929.

³⁵ Записки Данилова, Русский архив, 1883, Т. II, с. 44.

³⁶ Leonard: Lettres des deux amants, 1773.

³⁷ Л. Гросман: Творческий путь Достоевского; Бахтин, о. с.

категорий – педантичному путешествующему, путешествующему из скуки³⁸, Достоевский говорит о своем собственном способе путешествовать, отличающегося от обычных: „Итак, я в Париже... Но не думайте, однако, что я вам много расскажу собственно о городе Париже. [...] Да и терпеть я не мог, за границей, осматривать по гиду, по заказу, по обязанности путешественника“ (Гл. V, ср. у Стерна: „It is for this reason [...] that I have not seen the Palais Royal, – nor the Luxembourg, – nor the Façade of the Louvre, – nor have attempted to swell the catalogues we have of pictures, statues, and churches. [...]“)^{cxvi}. Подобно Стернианскому путешествию, „Зимние записки“ обрываются так же без предупреждения. Одновременно с тем, однако, Достоевский издевается над композицией банальных „сентиментальных путешествий“³⁹ и немного иронизирует Карамзина: „В обратный проезд мой через Кельн [...] я увидел собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом“^{cxvii} (гл. I). Противоположностью иронии был бы стиль, ощущающийся уже устаревшим, но все еще не анахроничным, все еще не ушедшим в историю. Для Достоевского, по его собственным словам возвращенного на Карамзине⁴⁰, Карамзин все еще современник.

Так, два больших представителя русского романа, таких разных как художники, что лишь с усилием можем представить их себе 417 | 418 современниками, сходятся в одном: оба разрабатывают, каждый по-своему, как раз такие формы художественного языка, которые, проникнув с Запада, воздействовали в России преимущественно на „домашнюю“ литературу и были сохранены благодаря ей, формы, которые на Западе, ко времени Толстого и Достоевского, уже давно сгнили или совсем исчезли. Исчез роман в письмах – в России, кроме Достоевского, эта форма востребована Тургеневым, – роман-исповедь, роман-солилокви – и эта форма наряду с Достоевским разрабатывалась и Тургеневым („Дневник лишнего человека“, „Довольно“^{cxviii}). Что касается семейного романа, то в западноевропейской литературе он удалился от семейной хроники в тесном смысле слова гораздо больше, чем у Толстого. Когда в новейшее^{cxix} время Запад возвращается к старым романским формам, к роману-исповеди (Пруст, А. Жид „Si le grain meurt pas...“ и некоторые другие), к роману в письмах (Мориак „Le poeud des vipères“, в форме исповедального письма, которым герой обращается к своей жене), – то это объясняется нарастающим влиянием Достоевского, обстоятельство, которое с своей стороны естественно нуждается в социально-психологическом объяснении⁴¹. Но это уже выходит за рамки статьи.

Уясняя себе взаимную зависимость между специфическими особенностями развития русского романа и структурой российского общества, мы вместе с тем открываем себе путь к пониманию других явлений в русской литературной истории, которые не менее важны с культурно-исторической точки зрения. Одно из этих явлений не имеет, как кажется, и отдаленнейшей параллели в Европе: это широкое распространение в народных массах книг, вполне архаичных не только по содержанию и композиции, но и по своему языку. Делаю оговорку, что здесь речь идет об

³⁸ „Предисловие. В Disobligeant“, „На улице (Кале)“, „Паспорт“.

³⁹ „...По записной моей книжке приходится, что я теперь сижу в вагоне и приготавлиюсь назавтра к Эйдкунену, т.е. к первому заграничному впечатлению; у меня сердце стучит“ (гл. II). [В оригинале у Достоевского: „[...] впечатлению и у меня подчас даже сердце вздрагивает“.]

⁴⁰ Ср. Его письмо Страхову, 2. XII. 1870: „я возрос на Карамзине“.

⁴¹ Я затрагиваю здесь только проблему формы. Что касается содержания, отношение новейших французских романистов к его мировоззрению вряд ли можно сформулировать лучше, ем это сделал Pierre Mille (во „Французском романе“); он указывает, что у французов „l'introspection reste à la bas“ и прибавляет: „Inversement ce sont les autres que les grands Russes voient à travers eux-mêmes“ (4 изд., 1930, с. 185), чем он подразумевает, что у русских индивидуализм не дегенерирует до эгоцентризма.

архаичности не „народных“, а именно „ученых“, литературных источников. В России, незадолго до революции, печатаются и продаются среди масс романы „для народа“, являющиеся простыми оттисками, без каких бы то ни было изменений, книг, которые продавались в 18 в. Такой книгой, например, является роман „Франц из Венеции и красивая царевна Ранцывена“, которая доходит до России через Польшу и уже к 418 | 419 началу 19 в. ощущалась как полностью устаревшей; у меня есть экземпляр, выпущенный в Москве у Сытина в 1915 г. А есть много таких книг! Возникает вопрос: как они могли сохраниться? Как они дошли до народа? Пришли они из библиотек помещиков, где читались барами и их прислугой. Можно найти много таких примеров в русской литературе середины 19 в. – у Тургенева в „Дворянском гнезде“ и у целого ряда других писателей⁴². Пародирование языка 18 в. у Кузьмы Пруткова не представляет собой в середине 19 в. никакого анахронизма, так как этот язык еще существует одновременно с языком Пушкина. Между прочим, современное Кузьме Пруткову дворянство все еще дает людей, которые с большим удовольствием читают „Анекдоты“ (подобные тем, которые рассказывает „дед“ Кузьмы Пруткова)⁴³. Эта литература поддерживает на поверхности архаизмы в разговорном языке помещичьего дворянства и близких к ней социальных слоев. И. А. Бунин (рожд. 1870) отмечает очень интересные архаизмы в речи своего отца, который „все-таки иначе говорил красивым, простым и правильным русским языком“⁴⁴. Это естественно выходит наружу и в литературном языке. Не только у провинциала Гоголя, но и у Толстого, у С. Аксакова и у высокообразованного Тургенева можно найти характерные архаизмы, происходящие из литературного языка 18 в. и не встречающиеся ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Вяземского. Это еще одно особое проявление общего факта, что русский язык развивался в условиях культурной децентрализации⁴⁵.

Начиная с первой четверти 19 в. эта децентрализация находится в постепенном наступлении, до начала 20 в. Пропитанное духом просвещенного абсолютизма, в 18 в. государство ищет способы организовать культуру, самому взяться за руководство ею, дать ей направленность, подчинить ее определенным „правилам“. Двор в Петербурге задавался целью 419 | 420 играть роль Версаля, Сан-Суси и Веймара. В послеекатерининскую эпоху отказываются от этих мыслей. Одновременно с этим терпят крушение робкие попытки пересадить на русскую почву что-то подобное европейским „академиям“: „Беседа“ Шишкова, „Арзамас“ Карамзина. Параллельно этому литературная критика переживает метаморфозу. Из формально-эстетической, филологической, какой она была в 18 в., начиная с Белинского, она становится все более публицистической. Из рук писателей она переходит в руки людей, которые, после Белинского⁴⁶, стояли вдали от литературы как эстетической данности. Тем самым можно объяснить падение *среднего уровня* русской литературной продукции, точнее, его исчезновение. Классическая русская литература развивалась анархически как и русский литературный язык. Она была постижением разобщенных, распыленных усилий больших гениев, развившихся на тонком слое духовной элиты. Помимо этой литературы на протяжении 19 в. развивается другая, с небольшими исключениями не

⁴² Н. Успенский дает список книг, которые он нашел в 60-х годах у помещиков, – почти все происходят из 18 в. Похожий список (книг, которых прислуга занимала в библиотеках своих господ) находится у Левитова („Выселки“); в нем имеются романы Scudery, M-me Genlis, Ducray-Duminil.

⁴³ Ср. Достоевский „Зимние заметки“, гл. III, об одной книжке времен Екатерины, которую он читал 10-летним ребенком. В одном рассказе *Дриянского* („Амазонка“) изображен провинциальный Дон Жуан, чья „вершина образования“ это „Иван Выжигин“ Булгарина и анекдоты о Фридрихе Великом.

⁴⁴ Записки, „Последние новости“, 10. VII. 1923.

⁴⁵ Показу этого процесса посвящаю отдельную работу.

⁴⁶ Белинский, хотя он сам никакой не художник, обладает большой эстетической культурой.

обладающая никакими художественными качествами, литература, которая терпит воздействие классической лишь в минимальной степени.

Сферой возникновения и распространения повествовательной литературы в Западной Европе было и остается „общество“. Очаг русской литературы прежде всего „дом“. Этим будет обусловлен целый ряд особенностей ее развития. С этой точки зрения символическое значение имеет обстоятельство, что в начале развития русской литературы стоит поэма Державина „Жизнь на Званке“, а в его конце – ныне выходящий роман „Жизнь Арсеньева“ Ивана Бунина⁴⁷. Первое – самое совершенное из произведений Державина, описание его жизни в его имении, куда он вернулся на старости лет, произведение, которое он посвятил своим друзьям и корреспондентам, митрополиту Евгению, последнее – без сомнения самое гениальное произведение Бунина и, может быть, лучшее, что предложила в последнее время не только русская, но и мировая литература, автобиографический роман, в котором с непревзойденным мастерством переплетены элементы „исповеди“ и „семейной хроники“ последнего русского „дворянского гнезда“.

ⁱ P. Bicilli, „Die „Haus“-Literatur und der Ursprung der klassischen Literatur in Russland“, *Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven*, Neue Folge, Bd. 10, H. 3/4 (1934), pp. 382–420.

ⁱⁱ Имеется в виду книга: *Handbuch der Literaturwissenschaft: Literaturen der slawischen Völker: Die russische Literatur*, Wildpark-Potsdam: Akad. Verl.-Ges. Athenaion (2 изд.: 1931; 1 изд.: 1927). Редактор серии – Оскар Вальцель. Мы не знаем, каким из двух изданий пользовался П. Б.

ⁱⁱⁱ Все цитаты из периодического сборника „Русский архив“ проверены по оригинальным выпускам, отсканированным и выложенным в режиме свободного доступа здесь: <https://runivers.ru/lib/book7627/>.

^{iv} У П. Б. ссылки нет. Цитата приводится по: „Петр Михайлович Бестужев-Рюмин и его новгородское поместье“ [по оглавлению: „Новгородский помещик в первую половину XVIII века (П. М. Бестужев-Рюмин). Его автобиография, деревня и хозяйство (1738)“], *Русский архив*, 1904, вып. 1, с. 5–42; с. 15.

^v „Записки Василья Александровича Нащокина, генерала времен Елисаветинских. С предисловием и примечаниями Д. И. Языкова. Второе издание“, *Русский архив*, 1883, вып. 4, с. 243–351.

^{vi} Цитата приводится по: *Русский архив*, 1905, вып. 1, с. 124–173; цит. с. 171–173.

^{vii} Книга В. Ходасевича „Державин“ выходит в издательстве „Современные записки“ в 1931 г.

^{viii} (К постраничному примечанию № 6). Цитата уточнялась по: *Записки некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника, сенатора И. В. Лопухина, сочиненные им самим*. Москва: Университетская типография, 1860

(https://books.google.bg/books/about/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D1%A3%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%81.html?id=yMgGAAAAQAAJ&redir_esc=y), с. 2.

^{ix} „Записки артиллерии майора Елисаветинских времен М. В. Данилова“ [заглавие по оглавлению], *Русский архив*, 1883, вып. 3, с. 1–66. – На обложке обозначен номер выпуска (3-й), на титуле – номер тома (2-й), охватывающего выпуски 3-й и 4-й за соотв. год. Нумерация для каждой пары выпусков общая, т.е. выделение вып. 3 и 4 в „том II“ за 1883 год оправдано. Страницы предшествующего „Запискам“ материала пронумерованы римскими цифрами.

^x Цитата приводится по: „Записки М. В. Данилова“, *Русский архив*, 1883, вып. 3, с. 1–66; цит. с. 2–3.

^{xi} Букв. „новые люди“. Нет оснований сомневаться в Бициллиевской аллюзии на римскую реалию, т.е. наверняка имеются в виду служилые люди в первом поколении, а также, возможно, люди с новым пониманием служебного долга.

^{xii} „И т. д.“ – внутри цитаты. У П. Б. ссылки нет. Цитата выверена по: Водовозова, Е[лизавета Николаевна]. „Воспоминания. Глава V. Помещичьи нравы перед эпохой реформ“, *Минувшие годы*, 1908, вып. 7, с. 199–229; цит. с. 200. Выпуск журнала доступен в сети:

https://archive.org/stream/minuvshie_gody/19087-8_djvu.txt. В квадратных скобках вставляются слова, недостающие при обратном переводе цитаты. В оригинальном источнике словоформы „политических“ и „общественных“ в обратной последовательности. Фрагмент „с каким...“ в ориг. ист.: „как у нас любили прошлое“. Вм. „членов семьи“ – „собравшихся“. Вм. „говорить“ – „вспоминать“.

⁴⁷ Первая часть выходит в 1931 г. Вторая публикуется сейчас в „Современных записках“.

^{xiii} Цитата из авторского предисловия к изданию „Воспоминаний“ в книжном формате. К сожалению, первое из ряда таких (1911 года) и единственное, которое могло бы быть прочитано либо под рукой Бицилли, осталось для нас недоступным.

^{xiv} В оригинале „мне“, без выделения в скобках.

^{xv} Цитата у П. Б. без ссылки. – „Записки Андрея Тимофеевича Болотова“ (видимо, издательское заглавие), или „Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков (1738–1793)“ (видимо, заглавие автора) (СПб., Печатня В. Головина, затем: Типография В. С. Балашева) выходили в качестве приложения к восьми последовательным томам „Русской старины“ (I–VIII, за 1870–1873 годы; выходило по два тома журнала в год, каждый объединял по шесть месячных выпусков, в режиме „второго издания“). Последовательных приложений четыре, и каждое могло сойти за „Том“ „Записок“; оно и было таким (см., напр., „Примечание для переплетчика“ на с. VII-й Т. IV-го журнала), но нумерация на титуле появляется не сразу, а есть повсюду лишь в оглавлении. „Том IV“ выходит уже без обозначения „Приложение к «Русской старине»“ на титуле; и в конце заглавия обозначен не 1793-й, а 1795-й год. И все же, в отличие от „частей“ и „писем“, деление „Записок“ на томы не было авторским, а издательским. П. Б. пользуется как раз этим, издательским, делением текста „Записок“ на тома. В оглавлениях в конце столбцы обозначались как „стр.[аницы]“. Соотв., „III, 932“ в тексте П. Б. означает т. III „Записок“, стлб.=с. 932. – Соотв. тома „Русской старины“ отсканированы и выложены на портале „Руниверс“, но без указ. приложений. Приложения доступны через сайт Российской государственной библиотеки.

Цитата приводится по: *Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Том III. Части XV–XXI*, приложение к: *Русская старина*, 1872 [Тт. V и VI], стлб. 1–1244; цит. стлб. 932 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860692#?page=468>).

^{xvi} У П. Б. без ссылки. Цит. по: *Жизнь... Т. III...*, 1872, стлб. 942 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860692#?page=473>).

^{xvii} В 1931 году „Записки“ были переизданы московским издательством „Академия“.

^{xviii} Цит. по: *Жизнь... Том IV. Части XXII–XXIX*[, приложение к: *Русская старина*, 1872 [Тт. V и VI]], СПб.: Типография В. С. Балашева, 1873, с. 1–1330 + 1–84 (именной указатель); цит. стлб. 656 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860691#?page=330>), 696 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860691#?page=350>). – У П. Б. после „Настасья“ пояснение в скобках – „ее дочь“ (она же сестра повествователя).

^{xix} Цитата приводится по: *Жизнь... [Т. I]. Части I–VII*, приложение к „Русской старине“, 1870 [Тт. I и II], с. I-X + стлб. 1–1016; цит. стлб. 997 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860694#?page=511>). В оглавлении в конце текст этих семи частей обозначен как „Том первый Записок Болотова“, а столбцы обозначены как „стр[аницы]“.

По обратному переводу вместо „в одну форму“ – „написаны на одинаково больших листах“.

Непонятно, что обозначается „IV, с. 370“: цит.отрывок принадлежит восьмой части „Записок“ и их первому издательскому тому.

^{xx} Цит. по: *Жизнь... [Т. I]...*, 1870, стлб. 2 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860694#?page=13>).

^{xxi} Беглый просмотр номеров журнала, отсканированных и наличных на портале <https://archive.org>, не сразу дает нам возможности с уверенностью подтвердить сведения П. Б. о поэтике дневников/дневника А. Пишчевича; содержание из этих дневников не раз дается в пересказе или выдержках в разделе „Известия и заметки“. Основание для вывода могли дать опубликованные в № 1 за 1884-й год, с. 131–134 (https://archive.org/details/kievskaya_starina_1884_1/page/n135 и сл.), выдержки из „Записок Ал. Пишчевича на 1813 г., состоящие в разных письмах“; и из таких же „Записок“ за год 1815-й („Примечания Александра Пишчевича на Новороссийский край“, с предисл. и примеч. В. Ястребова, *Киевская старина*, год III, том VIII, январь 1884 г.). И, конечно, след. комментарий: „Живя в деревне, Пишчевич иногда ездил в окрестные города, [...] и потом, по свежей памяти, заносил их в «дневные записки». Последним он иногда пытался придать оригинальную форму сборника корреспонденций из разных мест, конечно, сам трудясь над составлением подобного рода писем к собственной особе, на подобие того, как делал это один Диккенсов герой. Выбираем для образца данные о гор. Елисаветграде из таких записок за 1816 год. [...]“ ([Без подписи], „Южно-русский город в начале текущего столетия (Из «дневных записок» А. С. Пишчевича)“, *Киевская старина*, январь 1886, с. 173–183, цит. 173–174; рубр. „Известия и заметки“) (https://archive.org/details/kievskaya_starina_1886_1/page/n182 и сл.).

^{xxii} Цит. по: *Жизнь... [Т. I]...*, 1870, стлб. 530 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860694#?page=277>).

Непонятно, что обозначается римской цифрой „V“. Цитированные 46-е и 47-е письма принадлежат четвертой части „Записок“, или „Жизни и приключений...“.

^{xxiii} У П. Б. без ссылки. В источнике вместо „его“ – „моей“, т. е. родственница автора „Записок“. За исключением отмеченного, цитата приводится по: *Жизнь... [Т. I]...*, 1870, стлб. 21–22 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860694#?page=23>).

^{xxiv} В источнике вместо „моих“ – „своих“. За исключением отмеченного, цитата приводится по: *Жизнь... [Т. I] ...*, 1870, стлб. 981–982 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860694#?page=503>).

^{xxv} Ср.: „ходючи по своим аллеям и дорожкам“ (*Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. II. Части VIII–XIV*, приложение к: *Русская старина*, 1871 [Т. III и IV], с./стлб. 1-1120; цит. стлб. 411: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860693#?page=207>), в усадьбе с садом у деревни Болотово.

^{xxvi} Цитата приводится по: *Жизнь... Т. II. Части VIII–XIV*, 1871, стлб. 411.

^{xxvii} *Жизнь... Т. II. Части VIII–XIV*, 1871, стлб. 965–966 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860693#?page=484>).

^{xxviii} Вставка в скобках П. Б. – Ср.: „Единый только топот от быстрых коней претерпевал ты временем от татар, набегавших нередко на отечество наше и разорявших оное до самых тех мест, где протекает Ока, сия река многоводная и служившая так долго защитой бедному отечеству нашему от сих народов варварских и диких. / Коль много зла претерпевали предки наши, живущие в местах сих от сих грабителей жестоких! [...]“ (*Жизнь... Т. II. Части VIII–XIV*, 1871, стлб. 966).

^{xxix} Цитата приводится по: *Сочинения Муравьева. Том второй*. Санкт-Петербург.: Издание А. Смирдина, 1847, с. 369–370. Издание оцифровано и выложено на сайте Некоммерческой электронной библиотеки „ImWerden“: <https://imwerden.de/publ-2087.html>.

^{xxx} Цит. по: *Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. II. Части VIII–XIV*, приложение к: *Русская старина*, 1871 [Т. III и IV], стлб. 152 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860693#?page=77>). – После „великолепный“ у П. Б. не „!..“, а лишь „!“.

^{xxxi} Цит. по: *Жизнь... Т. II...*, 1871, стлб. 143 (<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860693#?page=73>).

^{xxxii} Цитата приводится в обратном переводе с немецкого. Ср.: „напоминал всю историю сего в древности столь славного и великого республиканского города“ (*Жизнь... Т. II...*, 1871, стлб. 293: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01003860693#?page=148>). – В источнике, сентиментальное излияние по поводу прошлого города предшествуется откровенным признанием повествователя о том, что его восприятие программировалось трагедией Сумарокова „Синав и Трувор“ (там же).

^{xxxiii} (К постраничному примечанию 11). Пояснение в скобках, приводимое в дословном обратном переводе, П. Б. Цитата выверена по: Глинка, С. Н. *Записки (с 1776 по 1796)*. Глава XI. http://dugward.ru/library/xviiiivek/glinka_ns_zapiski_1776-1796.html#a011.

^{xxxiv} Точное заглавие текста – „Истинное повествование, или жизнь Гавриила Добрынина (1752–1823)“.

^{xxxv} Цитата приводится по: *Истинное повествование, или жизнь Гавриила Добрынина (1752–1823), им самим написанная*, с. 124, <https://www.litres.ru/g-dobrynin/istinnoe-povestvovanie-ili-zhizn-gavriila->.

^{xxxvi} Цит. по: *Истинное повествование...*, с. 302, <https://www.litres.ru/g-dobrynin/istinnoe-povestvovanie-ili-zhizn-gavriila->.

^{xxxvii} В немецком тексте это словосочетание дублировано на русском, в транслитерации.

^{xxxviii} Цит. по: *Истинное повествование...*, с. 3, <https://www.litres.ru/g-dobrynin/istinnoe-povestvovanie-ili-zhizn-gavriila->.

^{xxxix} Цит. по: *Истинное повествование...*, с. 348.

^{xl} Цит. по: *Истинное повествование...*, с. 357–358.

^{xli} Цит. по: *Истинное повествование...*, с. 153.

^{xlii} „[...] сделался холоден и задумчив, молча закончил свой обед, а затем, неожиданно встав из-за стола, поклонился мне с ледяным видом и исчез“. Цит. по: Ален Рене Лесаж. *Полождения Жиль Бласа из Сантильяны*. Пер. с фр. Г. Ярхо. Москва: Правда, 1990; <http://lib.ru/INOOLD/LESSAZH/blas.txt>.

^{xliii} Цитаты здесь и ниже, через строчку, приводятся по: *Истинное повествование, или жизнь Гавриила Добрынина...*, с. 3.

^{xliv} Здесь и ниже цитаты приводятся по: „Жизнь А. С. Пишчевича, им самим описанная. 1764–1805. В трех частях“, предисл. и примеч. Д[ействительного] Чл[ена] Нила Попова, *Чтения в Императорском обществе истории и дружностей российских при Московском университете*, 1885, кн. 1 (январь–март), с. 32–144; кн. 2 (апрель–июнь), с. 55–216; (доступно в сети: <https://runivers.ru/lib/book8180/471895/>; <https://runivers.ru/lib/book8180/471898/>). Публикация имеет собственную, сквозную, пагинацию: с. I–IV и 1–112 в кн. 1; с. 113–274 в кн. 2. П. Б. ею и пользуется.

^{xlv} Цитата приводится по: „Записки [Григория Степановича] Винского“ [по оглавлению „Записки Винского. Малороссиянина времен Екатерины II-й. С предисловием А. И. Тургенева“], *Русский архив*, 1877, вып. 1, с. 78–125, вып. 2, с. 150–197; цит. вып. 1, с. 82–83 (отсканировано и выложено в свободном доступе в сети; цит. см. здесь: <https://runivers.ru/bookreader/book406301/#page/84/mode/1up> и сл.). – „Записки“ – (квази)заглавие издательское; авторское – „Мое время“. Как и в случае с опусом Болотова, П. Б. отдает предпочтение издательскому заглавию, заодно квазижанровому определителю. На некотором уровне абстракции „Моя жизнь / Жизнь имьярек, им самим описанная“ задает ожидание „рефлексивности“, „возвратности“, „Записки“ – „объект(ив)ности“, „деятельности“ (ср. с граммат.

категорией залога). Тем самым семантический сдвиг, наверняка безотчетно произведенный в редакциях „Русского архива“ и „Русской старины“, легко объясним – позитивистским „духом времени“ (письменность – не личный документ и не литература, а исторический источник). Решение (или отсутствие решения) П. Б. понять труднее; может, сказывается принцип экономии интеллектуальных сил. – Исходя из текста предисловия и самого жизнеописания, мудро узнать личное имя Винского (что имеет свою поэтологическую грань). Уже в оглавлении вып. 2-го имя и отчество автора даны.

^{xlvi} Цит. по: „Записки Винского“...; цит. вып. 2, с. 188–189
(<https://runivers.ru/bookreader/book406301/#page/186/mode/1up> и сл.).

^{xlvii} „Ин [так!] пиши, сыскав себе предмет и что ты лучше знаешь. [...] Я знаю самого себя лучше всего; так вот мой предмет: МОЕ ВРЕМЯ. [...]“ („Записки Винского“...; вып. 1, с. 78:
(<https://runivers.ru/bookreader/book406301/#page/80/mode/1up>).

^{xlviii} В оригинале у Винского „К...“. Имя Карамзина дописано Петром Б. (вероятнее всего) либо его немецким переводчиком. В немецком тексте перечисленные имена – в единственном числе.

^{lix} Цитаты здесь и выше приводятся по: „Записки Винского“...; вып. 1, с. 115.

^l Цит. по: „Записки Винского“...; вып. 1, с. 80–81.

^{li} (К постраничному примечанию 15). Цитата приводится по: *Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной*. С предисловием и примечаниями Б. Л. Модзалевского. С.-Петербург: Тип. тов-ва „Общественная польза“, 1903, с. 14; <http://bibliomo.ru/catalog/9738/viewer/>.

^{lii} Имеется ввиду Лабзина.

^{liii} В немецком переводе заглавие поэмы Хераскова написано как „России“.

^{liv} Возможный вариант перевода: „один из масонских друзей“.

^{lv} Цитата приводится по: *Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной*..., с. 86.

^{lvi} Цит. по: *Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной*..., с. 86.

^{lvii} Цит. по: *Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной*..., с. 53.

^{lviii} Цит. по: *Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной*..., с. 58.

^{lix} „Осмеливаюсь к вам писать, надеясь, что оно вам не неприятно будет. Для меня же переписка тем ценнее“ и т. д. См.: „Биографический очерк графа В. Г. Орлова. Составлен внуком его графом В. Орловым-Давыдовым“, *Русский архив*, 1908, вып. 7, с. 301–395; вып. 8, с. 429–506; вып. 9, с. 67–85; вып. 10, с. 145–214; вып. 11, с. 303–366; вып. 12, с. 465–506; цит. вып. 10, с. 147. Нумерация страниц сквозная в рамках 1–4, 5–8, 9–12-го выпусков соответственно, что дает основания описывать их как тома I–III в рамках соответствующего года издания.

^{lx} Цит. по: Биографический очерк графа В. Г. Орлова...; цит. вып. 10, с. 180.

^{lxi} Имеется ввиду публикация: „Письма князя Павла Дмитриевича Цицианова к Василию Николаевичу Зиновьеву с предисловием и примечаниями Н. П. Барышникова“, *Русский архив*, 1872, вып. 11, стлб. 2100–2173; письмо от 30 июня 1786, стлб. 2138–2141; цит. стлб. 2139–2140
(<https://runivers.ru/bookreader/book406213/#page/274/mode/1up>). – Нумерация столбцов сквозная за весь год издания.

^{lxii} Цитата приводится по: *Архив братьев Тургеневых: Выпуск 2-й: Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева Геттингенского периода (1802–1804 гг.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген 1805–1811 гг.* С введением и примечаниями В. М. Истрина. СПб.: Отд. Рус. яз. и словесн. Импер. Акад. Наук, 1911, с. 450. Скан издания размещен на сайте дигитального архива ИРЛИ РАН. См. <http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=NzokLTGNMCM%3d&tabid=10399>.

^{lxiii} „Жизнь А. С. Пишчевича, им самим описанная. 1764–1805. В трех частях“, предисл. и примеч. Д[ействительного] Чл[ена] Николая Попова, *Чтения в Императорском обществе истории и друженности российских при Московском университете*, 1885, кн. 1 (январь–март), с. 1–112 собственной пагинации, цит. с. 40 (<https://runivers.ru/bookreader/book471895/#page/80/mode/1up>) и 50 (<https://runivers.ru/bookreader/book471895/#page/90/mode/1up>).

^{lxiv} (К постраничному примечанию 18). Бицилли отсылает к: Шенрок В. И. „Н. М. Языков (1808–1846): Биографический очерк“, *Вестник Европы*, 1897, вып. 11, с. 134–173 и вып. 12, с. 597–631; цит. вып. 12, с. 607. – Выпуски сгруппированы по два в „тома“; нумерация страниц в рамках тома сквозная; выходит по 6 „томов“ в год. „Том“ 188-й журнала, или 6-й за 1897 год, отсканирован и выложен в сети: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_1897_188_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4.pdf.

^{lxv} *Архив братьев Тургеневых: Выпуск 2-й: Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева Геттингенского периода (1802 – 1804 гг.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген 1805 – 1811 гг.* С введением и примечаниями В. М. Истрина. СПб.: Отд. Рус. яз. и словесн. Импер. Акад. Наук, 1911. Издание размещено на сайте дигитального архива ИРЛИ РАН.

Номер страницы дан П. Б. согласно пагинации соотв. источника. В издании – арабская пагинация каждого из источников, отдельная от арабской же пагинации Введения.

Цитата в самом деле из „Приписки А. С. Кайсарова“, которая „писана на отдельном листке“, там же; выражение „едва ли“ в пересказе П. Б. – или его переводчик – смягчает смысл оригинала: „точно уверен, что вам не могли быть приятны от меня церемонные письма“.

^{lxvi} Запись в самом деле от 22-го, а точнее „22/11“ июня (Тургенев последовательно пользуется двойной датировкой); запись от 23-го – на той же странице издания, ниже.

^{lxvii} 1) У П. Б. многоточие без скобок, т.е., как и в других местах, нельзя понять, когда оно принадлежит источнику, а когда внесено П. Б. для обозначения перерыва в цитировании. 2) В цитируемом им источнике фраза „не по одному *обыкновенно*“ заключена в (круглые скобки).

^{lxviii} В оригинале у Языкова: „просит у меня позволения напечатать“.

^{lxix} *Языковский архив: Выпуск 1-й: Письма Н. М. Языкова близким за дерптский период его жизни (1822 – 1829)*. Под редакцией и с объяснительными примечаниями Е. В. Петухова, СПб.: Отд. Рус. яз. и словесн. Импер. Акад. Наук, 1913. – Издание размещено на сайте дигитального архива ИРЛИ РАН.

В цитате слово „предприятие“ явно вставлено немецким переводчиком, предположительно ввиду синтаксического требования недвусмысленности антецедента.

^{lxx} *Описание Белого моря с его берегами и островами вообще; так же Частное описание островной Каменной гряды, к коей принадлежат Соловки, и Топография Соловецкого монастыря; с приобщением морского путешествия в 1789 году в оный монастырь, представленное в письмах [...]* Александром Фоминим, СПб.: при Имп. Акад. Наук, 1797. Отсканировано и доступно в сети:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Фомин_-_Описание_Белого_моря_1797.pdf.

^{lxxi} В дословном обратном переводе с немецкого: „Архангельск показался уже в виду. Вскоре я буду иметь удовольствие видеть Вас снова после 13-дневного расставания, и передать адресованные Вам письма лично. С этой радующей мыслью я кончаю мою дорожную переписку“.

Возможная причина непередачи грамматической модальности – „я надеюсь“ – то, что П. Б. цитирует по выпискам, не имея уже книгу под рукой. Деталь, несущественная для хода мысли цитирующего автора, легко опускается и с книгой под рукой.

Точка в конце первого предложения вместо тире: мы не знаем, за кем устранение пунктуационной особенности, вероятно кажущейся в 20 в. странной – за П. Б., за переводчиком, за журнального редактора...

^{lxxii} (К постраничному примечанию 19).

П. Б. цитирует след. книги:

Учебная книга Российской словесности [или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем], СПб.: типогр. издателя, 1819, Часть I. Книга отсканирована и доступна в сети: <http://books.e-heritage.ru/book/10019911>; и

Частная риторика, Н. Кошанского, СПб.: при Императ. Акад. Наук, 1832. Книга отсканирована и доступна в сети через 'google: books'. Указанный интервал страниц, 24–37, отсылает не к структурной единице цитируемой книги (напр., главе), а к начальной и конечной точке пересказываемого и цитируемого профессором содержания.

О цитате из Греча: в издании источника словоформа „излишней“ выделена, у П. Б. выделения нет. Цитирован отрывок на с. 56. Основные виды, или типы, писем у Греча – „по предметам общежития“ и „литературные“. Дружеские – вид первого типа.

О цитатах из Кошанского: „недостатков [...] не бывает: ибо все приятно от друга“ (с. 24; у П. Б. пропуск при цитировании никак не отмечен; у П. Б. вместо двоеточия – запятая); „большею частью принимают тон дружеских, пользующихся правом изменять слог до бесконечности: говорить важно и забавно, простодушно и замысловато [...]“ (с. 32; у П. Б. вместо двоеточия – запятая). Возможно, это решение переводчика. Оно могло бы быть связано с такими особенностями немецкого текста, как повышенная смысловая нагрузка двоеточия на стыке передающей (своей) и передаваемой (чужой) речи и необходимостью разведения функций запятой и двоеточия. Эти особенности, возможно, связаны с „домашним стилем“ публикуемого журнала. На каком основании мы говорим о повышенной нагрузке двоеточия в немецком тексте? Немецкий текст работы П. Б. отказывается от пунктуационной возможности „кавычки“ в кавычках“ во всех тех случаях, когда это предполагается цитируемыми источниками (передача прямой или внутренней речи), довольствуясь одним двоеточием для размежевания передающей и передаваемой речи в цитируемых источниках.

^{lxxiii} (К постраничному примечанию 20).

П. Б. цитирует следующие научные работы:

В. М. Истрин, „Младший Тургеневский Кружок и Александр Иванович Тургенев“, *Архив братьев Тургеневых Т. II*, с. 1–134 (самостоятельная пагинация);

Е. И. Тарасов, *Декабрист Н. И Тургенев в Александровскую эпоху*, Саратов, 1922 (Мы не уверены в своем предположении, т.к. книга осталась для нас недоступной. Но в статьях Тарасова о геттингенском периоде Н. Тургенева в Журн. Мин. нар. просвещения (Новая серия, Часть LXV, 1916, сентябрь, отд. 2, с. 72–115, и часть LXVI, октябрь, отд. 2, с. 145–186) указанных наблюдений нет (приношу свою благодарность Александру Медведеву (доценту Тюменского гос. университета) и Светлане Кулясовой (специалисту по информационно-библиографическому обслуживанию Библиотечно-музейного комплекса того же университета) за возможность ознакомиться с их текстом); отрывочные замечания на эту тему имеются в „Архиве бр. Тургеневых“, т. 1, с. 476 (примеч. к с. 401) и 131);

В. М. Истрин, „Дружеское литературное общество 1801 г. (По материалам архива братьев Тургеневых)“, ЖМНП (Новая серия), 1910, август, 279–307; и, возможно: Он же, „Из документов архива братьев Тургеневых, I. Дружеское литературное общество 1801 г. (Дополнения). II. Отрывок из «Путешествия Онегина»“, ЖМНП (Новая серия), 1913, март, 1–26 (по: В. В. Данилов, „Хронологический список трудов академика Владимира Михайловича Истрина“, ТОДРЛ 12 (1956), 586–593; 590 и 591).

^{lxxiv} Описка П. Б. либо опечатка. Имеется ввиду том седьмой, а не восьмой. См.: Вяземский, „Письма Карамзина“, *Полное собрание сочинений*, Т. VII, 1855 г. – 1877 г. СПб.: Типогр. Стасюлевича, 1882, 133–147. Цитаты из с. 136 и 137. В источнике вместо „Карамзина“ – „его“; вместо „это“ – „высшее“.

^{lxxv} Запись от 21 сентября. Помеченный курсивом пропуск никак не отмечен П. Б. Сверка цитат из этого произведения по использованному П. Б. изданию, оцифрованному здесь:

http://az.lib.ru/w/wulxf_a_n/text_0010.shtml.

^{lxxvi} *Языковский архив: Выпуск 1-й: Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822 – 1829)*; под редакцией и с объяснительными примечаниями Е. В. Петухова, СПб.: Изд. Отд. рус. яз. и словесности Императ. акад. наук, 1913. – Письмо от 3 октября.

^{lxxvii} John Mason, A.M., 1706–1763, *Self-knowledge: a treatise, shewing the nature and benefit of that important science, and the way to attain it, intermixed with various reflections and observations on human nature*, 1745 (см.: <https://catalog.hathitrust.org/Record/001921077>; и: Alexander Gordon, “John Mason (1706–1763)”, *Dictionary of National Biography*, 1885–1900, Vol. 36, p. 432, доступно в сети:

[https://en.wikisource.org/wiki/Mason, John \(1706-1763\) \(DNB00\)](https://en.wikisource.org/wiki/Mason,_John_(1706-1763)_%28DNB00%29)); первое изд. рус. перевода – 1783 г.

Вопрос о том, был ли Джон Мэйсон в самом деле масоном, Евгений Тарасов, биограф Ивана Тургенева („К истории русского общества второй половины XVIII столетия: Масон И. П. Тургенев“, ЖМНП (Новая серия), часть II, июнь 1914, отд. 3, с. 129–175; см. 145–6), оставляет в сторону. П. Б. отсылает к этой работе, см. сноску 21.

^{lxxviii} Источник цитаты не указан. В книге Иоанна Масона А.М. *Познание самага себя, в котором естество и польза сея важныя науки, равно и средства к достижению оныя показаны, с присовокуплением примечаний*, „с Аглинского на Немецкой перепел М. I. В. Р., а на Российской И. Т.“, Москва: Университетская типогр., у Н. Новикова, 1783, с. 164, находим соответствующее ей выражение: „и прочитывай ее [записную книжку] каждый год“ (<https://books.google.bg/books?id=tuQBAAAACAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q=%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8A&f=false>).

^{lxxix} „Философы для мира“: ошибка памяти либо опечатка; заглавие труда Иоганна Якоба Энгеля (1775–7) – „Der Philosoph...“, т.е. „философ“ в ед.ч.; а у Тургенева опущен артикль.

^{lxxx} К примечанию 22. Цит. ист.: „Записки А. Я. Булгакова. Современные происшествия и воспоминания мои (Остафьевский архив). Ч. 1“, *Старина и новизна*, Книга XXII (1917), с. 100–147; цит. с. 104.

^{lxxx} Отмеченные жирным слова и „?“ вставлены П. Б. либо его переводчиком; в цитируемом источнике (у А. Тургенева) их нет. Данный нами в курсиве пропуск в цитате не отмечен П. Б. У П. Б. тире перед „Не советовал...“ убрано. Тургенев пользуется галлицизмами „журнал“ и „воаж“ (возможно, они были стилистически нейтральными для „карамзиниста“ начала 19 в.). Немецкий перевод пользуется нейтральными германизмами „Tagebuch“ и „Reise“, что может быть стилистической неизбежностью, результатом выбора переводчика, или же результатом безотчетного выбора П. Б. Редактор научного издания 1911 г., В. Истрин, пользуется словом „дневник“ (оно вынесено и в заглавии). Многоточием П. Б. обозначил перерыв в цитате в середине предложения.

^{lxxxii} У П. Б. убрано тире между первым и вторым предложениями. У П. Б. (кажущийся?) плеоназм в начале второго предложения, „ежедневного журнала“, изменен на „регулярного дневника“. Многоточием у П. Б. обозначен перерыв в цитате в середине предложения.

^{lxxxiii} К примечанию 23. Ср. приведенный фрагмент из „Страданий молодого Вертера“: „если б ты мог выразить словами, вдохнуть в бумагу то, что так согревает, что во всей своей полноте живет в тебе, чтоб оно было зеркалом твоей души, как она – зеркало бесконечного Бога!“; в единственном доступном нам переводе 19 в., Александра Струговщикова 1865 г., по изданию: *Собрание сочинений Гете в переводе*

русских писателей, под ред. Петра Вейнберга. 2-е изд. СПб.: Н. В. Гербель, Т. 2, 1892, с. 163–228; 164; доступно на сайте РГБ: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01004660582#?page=167>.

Второй цитированный в примечании источник: „Дорожные записки, 1797 года“, *Щукинский сборник. Вып. 2-й*, Москва: Т-во типогр. Мамонтова, 1903, <http://books.e-heritage.ru/book/10089392>, с. 216–227.

^{lxxxiv} У П. Б. в конце фрагмента – точка вместо восклицательного знака.

^{lxxxv} В обратном переводе у П. Б. – „что чувствовал и видел“; и нет запятой после „Unbefangenheit“.

Удаление анафоры – эффект цитирования по смыслу, т.е. по памяти, либо переводческого решения.

^{lxxxvi} У П. Б. вместо „мысли, рассуждения“ только одно слово, Betrachtungen; после него – лишь запятая, а не точка с запятой. Словосочетание „умерший брат“ – неоговоренная вставка переводчика или, вернее всего, П. Б.

^{lxxxvii} Фрагмент в курсиве дается в обратном переводе из немецкого, согласно работе П. Б. В источнике (у А. Тургенева) отмеченный нами курсивом фрагмент выглядит так: „мысли, все чувствования и ощущения, которые ты будешь в продолжение твоего странствия доверять ей“. Упрощение синтаксиса – решение переводчика либо результат безотчетной работы памяти цитирующего. Тургенев называет дневник „журналом“ и „белой книгой“.

^{lxxxviii} Опечатка, надо „438 ff.“; см.: „Журнал путешествия В. Н. Зиновьева по Италии, Франции и Англии, 1785–1786 гг. Сообщ. Н. П. Барышников. Примечание его и кн. А. Б. Лобанова-Ростовского“, *Русская старина*, Т. XXIII, вып. 11 (ноябрь), с. 399–440, цит. с. 438–9. Фрагмент, отмеченный (нами) курсивом, дается в обратном переводе с немецкого, а в источнике выражение сложнее и в настоящем времени: „представляются мне случаи знакомиться“. Стоит заметить, что публикатор дневника, Н. П. Барышников, называет его английскую, а точнее англо-шотландскую, часть „продолжением дневника“, и что это „продолжение“ написано в форме писем, отправляемых действительному адресату, графу С. Р. Воронцову (ук. ист., с. 421), в Лондон. Составлял ли Зиновьев свои письма в своем дневнике, а потом переписывал и отправлял Воронцову; или, наоборот, сначала писал письма адресату, а потом переписывал в дневник; или же, наконец, „продолжение дневника“ *компилировано* публикатором Барышниковым на основе *одних писем*, – понять нельзя. В любом случае, П. Б. не мог не обратить внимания на скрещивание жанров путевого дневника и писем (одна из сквозных тем данной его работы). Но делать этого здесь уже не стоило: в силу стилевой самодисциплины П. Б., мотивированной и интеллектуально и экономически, толкающей его к лапидарности и оттапливающей от амплификации. К такой характеристике мыслеречевого стиля П. Б. подталкивают ряд наблюдений и замечаний в книге: Галина Петкова, „Да се даде ръководеща нишка...“: *История на руската литература от проф. П. Бицили в три книги (България, 1931–1934 г.)*, София: Факел, 2017.

^{lxxxix} Публикатор, Н. Барышников, обратил внимание на другой „узел“ гибридности жанра этого текста: „[...] выделяется „Автобиография“ В. Н. Зиновьева, [...] озаглавленная „Воспоминаниями“. Эти „Воспоминания“ написаны для матери второй супруги [...]“ (611).

^{xc} Отрывок дается в обратном переводе. По-немецки: „religiöse Gespräche, die das Herz wonniglich festigten“, сравним: „религиозные беседы, весьма сладостно волновавшие сердце и которые питались и укреплялись чтением религиозных книг“ (А. П. Беляев, „Воспоминания о пережитом и перечувствованном с 1803 года“ [„Вместо предисловия“ и главы I–IV], *Русская старина*, XXIX (сент.-дек. 1880), сент., с. 1–42; отсылки к гл. IV, „Морской корпус“, с. 26 и сл.; цит. с. 39. Том доступен в сети: <https://runivers.ru/bookreader/book199509/>). Возможно, отрывок цитируется по запискам/выпискам, для „автора“ которых грань между цитатой и пересказом уже стерлась.

^{xc i} „Я начал свою новую жизнь с прекрасным направлением и жил философом“ (см. след. примеч.).

^{xc ii} Цит. ист.: А. П. Беляев, „Воспоминания о пережитом и перечувствованном с 1803 года. Глава V. В гвардейском экипаже“, *Русская старина*, Т. XXIX, сент.–дек. 1880, с. 823–850; цит. с. 825. Том доступен в сети: <https://runivers.ru/bookreader/book57386/>.

Заметим запятую после „корпусе“ и до многоточия и сравним с оригиналом источника: „возрождения при иеромонахе Иове, я писал“.

^{xc iii} (К постраничному примечанию 27). Имеются ввиду книга Якова Барскова „Переписка московских масонов XVIII века. 1780–1792 гг.“ (СПб.: Изд. ОРЯС ИАН, 1915) и Алексей Михайлович Кутузов.

^{xc iv} Выверено по: В. А. Жуковский, „Журнал, 1805–1806“, *Полное собрание сочинений и писем: в 20 тт.*, гл. ред. А. С. Янушкевич, Москва: Языки рус. культуры, т. 13, 2004, с. 13–27, цит. с. 14–15.

Выделение в цитате наше; у П. Б., видимо, контаминация, хотя издание „Дневника“ 1901 г. осталось для нас недоступным. По изд. 2004 г., место выглядит так: „Что можно приобрести и как? Что должно исправить и как?“. Озаглавив весь массив похожих между собой текстов „Дневники, письма-дневники, записные книжки“, составители и редакторы тома обозначили текст, относящийся к 1805 – 1806 гг., словом „журнал“.

^{xc v} Восполнено нами по смыслу. Вернее всего, техническая ошибка при верстке.

^{xсvі} См. Архив братьев Тургеневых, 1, с. 37–115. Полная форма: „Белая книга, или Бред, по большой части полночной“, Архив..., с. 37.

^{xсvіі} См. Архив..., 1, с. 5–21. Полная форма – „Моя Скука, или Желтая Книга“, Архив..., с. XXIII, 19, 21.

^{xсvііі} Выделение в издании Тургенева. В нем же „последние“ вместо „эти“ в начале и точка вместо восклицательного знака в конце отрывка. У П. Б. „мою и твою“.

^{xсvіx} Курсив наш. В оригинальном источнике (*Архив братьев Тургеневых: Вып. 5: Дневники и письма Николая Тургенева за 1816–1824 гг. (III том)*); под ред. и с примеч. проф. Е. И. Тарасова. Петроград: Изд. Отд. Рус. яз. и словесн. РАН, 1921) – „жизни мечтаний“. Фрагмент – эпитафия к книге десятой дневника, под заглавием „Книга повторений. Единообразие. Quo simplicius, eo melius“, записи в которой охватывают жизнь Н. Т. в Петербурге с 7 ноября 1816 по 13 сент. 1817 гг. В данном случае П. Б. редуцирует смысл цитируемого фрагмента до его „содержания“, изолируя его от „формального“ контекста (ретроспекция, самоцитата, сознательное или нет подчеркивание литературности текста дневника). В оригинале текст имеет графику стихов и строф.

^c Это предложение – толкование Петра Б., а не пересказ фрагмента письма.

^{сi} Цит. ист.: Остафьевский архив [князей Вяземских], Т. I (Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1812–1819). Изд. графа С. Д. Шереметева. Под ред. и с примеч. В. И. Сайтова. СПб.: Типогр. Стасюлевича, 1899

^{сii} Сличение текста по: Пущин, Иван, „Записки о Пушкине (Е. И. Якушкину)“, *Записки о Пушкине. Письма из Сибири*, редакция и биограф. очерк С. Я. Штрайха, Москва: Всесоюзное о-во политич. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1925, с. 81–136; цит. с. 81.

^{сiii} Цитата дается в обратном переводе. В оригинале у Вульфа вместо „никакого ответа“ – „удовлетворительный ответ“. Вставка без инициалов – Петра Б.

^{сiv} Цитата дается в обратном переводе. У Вульфа: „...в чем, я думаю, что изменился...“. Возможно, пропуск „я думаю“ – переводчика, который П. Б. (безотчетно) принял, в (безотчетном) согласии с своей установкой на краткость и аргументативную неизбыточность. Опущенное не противоречит, а скорее всего дает дополнительный довод в пользу мысли П. Б. об усвоении культуры авторефлексии даже людьми средних интеллектуальных возможностей.

^{сv} Это не оценка Петра Б., а пересказ самооценки, ср.: „по крайней мере, до этого времени мне никогда не удавались портреты“.

^{сvi} Поясняющая вставка – Петра Б. Вместо „подействовало и на нравственное...“ в оригинале „заметно и в нравственном...“. Отмеченный курсивом пассаж в оригинале у Вульфа выглядит так: „Страсти мои вещественны: я не увлекаюсь надеждами славы, ни даже честолюбия. Я почти ограничиваюсь минутным успехом. Женщины – все еще главный и почти единственный двигатель души моей, а может быть, и чувственности. Богатство не занимает меня, и жажда его не возрастет во мне до страсти. Если бы я мог пристраститься еще, то это – к азартным играм: они довольно сильно действуют на меня. Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самая сильная из страстей. Уединенная, одинокая, ни от кого не зависящая жизнь, привычка всегда повелевать ими, иногда вредное влияние на наш нрав делает его самовластным, нетерпеливым, вспыльчивым. [...] Большой недостаток твердости в исполнении воли“. Есть основания считать, что сжатие, лапидаризация – дело П. Б., а не переводчика.

^{сvii} У П. Б. без „кажется“. Ср. предыдущее примечание.

^{сviii} Запись от 21 февраля 1833 г. Имеется ввиду *Letters & Journals of Lord Byron, with Notices of his Life* (у Вульфа: „Переписка и записки о Байроне“) в двух томах, 1830 г., Томаса Мура (1779–1852). У П. Б. без слова „преимущественно“ в первом предложении.

^{сix} Ср. письмо Пушкина Дельвигу начала июня 1825 г.: „Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка [...]. Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии – ни даже о правилах стихосложения. [...] читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски – а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу“. Цитата по цифровой версии 10-го тома Полного собрания сочинений Пушкина 1979 г.: <http://pushkin-lit.ru/pushkin/pisma/136.htm>.

^{сx} „Премухово“ (Premuchovo) в немецком тексте.

^{сxi} „Абрамово“ (Abramovo) в немецком тексте.

^{сxii} Зимние записки о летних впечатлениях. Сверка русского текста по изданию: Полное собр.соч., 1865, т. 2: https://www.fedorostoevsky.ru/pdf/pss_1865_2.pdf. Мы не знаем наверняка, что сказывается здесь: заглавие опубликованного немецкого перевода или „услужливая“ память П. Б. Вернее всего, второе. В немецком собрании сочинений Достоевского под редакцией Артура Меллера ван ден Брука, с предисловием Дмитрия Мережковского, заглавие произведения дано как „Winteraufzeichnungen über Sommereinbrüde“ (München: Piper & Co, В. XI, 1921, 179–301; пер. Е. К. Рахсин), т. е. без упоминания сюжетно-фабульной доминанты путешествия. П. Б. – или его переводчик – не пользуются этим

изданием, соответствующие фрагменты значительно расходятся. Нам не удалось найти сведений о другом немецком переводе „Зимних впечатлений...“, изданном до 1934 г.

^{cxiii} В оригинале: „друзья мои“.

^{cxiv} Немецкий перевод – „etwas über Paris“ – стирает разницу между „...по поводу Парижа“ (так у Достоевского) и „...о Париже“.

^{cxv} Заглавие главки в самом деле „The Passport. Versailles [IV]“. У Стерна – в т. ч. в издании 1768 г. – четыре главки под заглавием „Паспорт“ и при подзаглавии „Версаль“ и, не в непосредственном соседстве, еще две под тем же заглавием и при других подзаглавиях. Проверено по: Sterne, Laurence, *A Sentimental Journey through France and Italy*, Transcribed by David Price from the 1892 George Bell and Son edition [*Classic tales: comprising Johnson's Rasselas, Goldsmith's Vicar of Wakefield, Swift's Gulliver's travels, and Sterne's Sentimental journey: printed from the earliest corrected editions*, London; New York: George Bell & Sons, 1892], сс. 555–666, цит. с. 633, <http://www.gutenberg.org/files/804/804-h/804-h.htm>. В первом французском переводе (Neuchatel, 1776, перевел Pierre Joseph Frénais) главы пронумерованы и подзаглавия убраны. „Титрология“ немецкого перевода Карла Эйтнера 1868 г. следует оригиналу. „Чувственное путешествие Стерна во Францию“, 1803 г., пер. П. Домогацкого с французского, следует указанному французскому; остальные русские переводы, изданные к началу 1930-х гг. – Алексея Колмакова 1793 и 1806 г., Д. Аверкиева 1892 г., остались для нас недоступными. Перевод 1968 г., „Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии“, пер. А. Франковского (Москва: „Худож. лит.“; дигитальная копия доступна в сети: https://imwerden.de/pdf/stern_tristram_shandy_1968.pdf), следует оригиналу. Заметим „гибридность“ „титрологии“ у П. Б. (без нумерации, но и без подзаголовков) и здесь, в примеч. 37. Отрывок на русском, по изданию 1968 г.: „Но это не относится к моим путешествиям. – И потому я дважды – дважды прошу извинить меня за это отступление“ (с. 619).

^{cxvi} „Passport. Versailles [I]“. Проверено по: Sterne, *A Sentimental Journey through France and Italy*, transcribed by David Price..., с. 629, <http://www.gutenberg.org/files/804/804-h/804-h.htm>. В переводе на русский: „По этой причине [...] я не видел ни Пале-Рояля – ни Люксембурга – ни фасада Лувра – и не пытался удлинить списков картин, статуй и церквей, которыми мы располагаем.“ (Стерн, 1968, с. 615).

^{cxvii} У П. Б. нет кавычек в кавычках.

^{cxviii} У П. Б. заглавие с восклицательным знаком. Немецкоязычное собрание сочинений Ив. Серг. Тургенева в 12 томах 1910–1931 г. осталось для нас недоступным.

^{cxix} При дословном обратном переводе – „новое“.

Перевод с немецкого перевода Йордана Люцканова
Редакция и концевые примечания Йордана Люцканова и Галины Петковой